



А. И.
ЭРТЕЛЬ



Александр Иванович Эртель

Карьера Струкова

В сборник писателя-демократа Александра Ивановича Эртеля вошли повести "Карьера Струкова", "Две пары", "Повесть о жадном мужике", "Волхонская барышня", которые отразили назревание народной революции. Л.Н.Толстой писал: "Для того, кто любит народ, чтение Эртеля большое удовольствие".

Содержание

I	.0004
II	.0042
III	.0090
IV	.0131
V	.0176
VI	.0204
VII	.0240
VIII	.0280
IX	.0310
X	.0341
Примечания	.0384

— Скажите, миленький, что же вы — ученым, профессором хотите быть?

Это происходило в Лондоне, лет десять тому назад, на пароходе, скользившем вверх по Темзе, и спрашивала Наташа Перельгина, дочь купца с среднего Поволжья, у русского дворянина с университетским дипломом, но еще без определенных занятий, у Алексея Васильевича Струкова.

— О, нет, Наталья Петровна, — ответил Струков, — чтобы быть профессором, я очень плохой лектор, да и вряд ли мне дадут кафедру. Ученым? Пожалуй — да, если бы я убедился, что раздвину хотя на вершок так называемые горизонты в моей науке.

— Еще не убедились?

Струков засмеялся.

— Пока нет. Пока все еще никак не выйду из области трюизмов. Думаешь иногда: вот наконец новое. А это новое лишь фактический материал. Правда, до тех пор неизвестный настоящим ученым, но — увы! — предусмотренный ими. Неинтересно иллюстриро-

вать чужие мысли, возьмешь и бросишь... Или работаешь скрепя сердце.

— У вас нет оригинальности, — с важностью произнесла Наташа.

— Может быть-с, — сказал несколько уязвленный Алексей Васильевич. — Но если бы ее так-таки совсем не было, поверьте, я сумел бы преблагодушно взять у кого-нибудь основную идею, нарядить лишний раз эту идею в материалы британского музея и пустить в оборот. Сколько ученых репутаций создавались таким образом!.. Однако мне это противно.

— Ну что ж, вы, значит, ищете оригинальности и понимаете, в чем она состоит. Но у вас-то ее нет. Кто ищет, в том ее нет. Тот, на мой взгляд, разнесчастный человек... Посмотрите, и с этой стороны какая прелесть — парламент. О, еще лучше, чем с той, от аббатства! И потом, когда веришь в чужую мысль, не ревнуешь к ней, а хочется послужить ей чем можешь. Вы, впрочем, кажется, так и делаете в вашей диссертации? Ведь вы составляете ее по Марксу?

— Почему же вы полагаете, что я составляю ее по Марксу? — с досадой возразил Стру-

КОВ.

— Ах, создатель мой, вот вы и рассердились. По заглавию — раз, по вашему образу мыслей — два. Да и как иначе? Сколько ни встречаешь теперь молодых ученых, все они как на машинке сработаны, все — марксисты.

— Благодарю вас. Очень возможно, что и на машинке, хотя я дивлюсь вашей смелости...

— Ого! Миленький мой, вы опять хотите меня посрамить. Ну, я ничего не смыслю в этих экономических теориях, ну, я не различу: где Маркс и где... как его там, Рикардо, что ли? Ну и довольно, и перестаньте дуться.

— Зачем дуться. Я только хочу сказать, что у Маркса есть мысли превосходно обоснованные, и есть такие, что только намечены. Я в своей статейке хотел доказать одну из последних, — или лучше не доказать, а отметить ее значение в одной маленькой области фактов — в зависимости политических идей в Англии от колебания земельной ренты.

— То есть преблагодушно наряжаете материалами музея, и так далее?

— Да нет же, злой вы человек, эту идею

Маркса нужно еще доказать, и следовательно, требуется самостоятельно над ней подумать. Трансформизм провозглашен был Ламарком и даже раньше, если хотите — Лукрецием, однако никто не скажет, что Дарвин... — Струков запнулся и покраснел.

— Ха, ха, ха! Как вы скромны!..

— Так я и знал. Что у вас за страсть смеяться надо мной! Не могли же вы думать, что я...

— Хотите быть Дарвином? Конечно, нет, голубчик, но зачем же вы сконфузились. Я смешлива... иногда. И потом, отчего не хотеть? Плохой тот солдат, кто не надеется быть генералом. Вот вы бросили свою диссертацию, — зачем?

— Месячный перерыв еще ничего не значит...

— Да, месяц, как мы в Лондоне... Ах какие грязные набережные, то ли дело в Париже. Впрочем, и сравнивать-то — кощунство. Не поверите, как мне противен ваш чудовищный муравейник. Там «Альберт», конечно? В жизнь свою не видала нелепей этой штуки! И зачем они его раззолотили? И отчего у них что ни площадь, все Веллингтон да Нельсон, а

беднягу Байрона загнали в какие-то кусты в Гайд-Парке, так что и не заметишь.

— У вас решительная антипатия к Лондону. Однако в Париже — лгун на лгуне, шпион на шпионе и высокопарными фразами насыщен воздух, здесь же — богатство, бедность, безвкусие, сила, свобода — все настоящее, все правда. Французы точно их кухня: легко, красиво, вкусно, но, во-первых, ни на что из произведений природы не похоже, а во-вторых, надо двенадцать блюд, чтобы остаться сытым. Подите же хоть к Симпсону на Странде: мясо так мясо, рыба так рыба, ешь без сомнения и сколько хочешь, и называется без затей — «кормление Джон-Булля». На мой вкус это куда лучше, чем выезжать на соусах да на легюмах... на принципах восемьдесят девятого года, в которые никто не верит. Братство! Равенство! Свобода! Они написали эти слова на стенах тюрем и казарм... Что может быть наглее и характернее!

— И опять сердитесь. Ах, создатель мой, какой вы... задира! Не могу же я сравнивать Париж с вашим правдивым чудовищем... в смысле изящества, сударь, в смысле изяще-

ства. Ведь Париж — красота, жизнь, блеск, радость. А коли дело пошло на еду, так вот вам притча: Франция — дрожжи, Англия — отлично выпеченный хлеб, но только для употребления верноподданных ее великобританского величества. Нет слов, что дрожжи кушать нельзя — и кисло и горько, — зато проходит двадцать, тридцать лет и вдруг ими подымается опара на всю Европу!.. Что? А вот вы и не знаете, что такое опара.

— Это все метафизика, Наталья Петровна. Исторический процесс проще и, — увы! — в крайнем своем выражении сводится...

— К теплу, к одежде, к пище? Знаю, знаю, к чему он у вашего Маркса сводится, и не спорьте... и сами вы не верите. Но оставим. Вам больше тридцати лет или меньше?

- Побольше.

— Ого! А мне двадцать два. И до сих пор не придумали, что с собой делать? И диссертацию свою бросили? И зачем живете здесь, не знаете? И своих собственных мыслей не приобрели? А в России у вас есть тетка, есть имение, есть приказчик Фомич и бедная, бедная деревушка бывших ваших крепостных. Ми-

ленький мой, в чем же проходит ваша жизнь? Ведь пора, пора взяться за дело.

— Но вы забываете, что после университета пять лет прошли у меня праздну, в городе Чердыни, Пермской губернии... по необходимости.

— Праздно! Вот там-то и подумать бы над собою. А вы штудировали политическую экономию.

— Я пополнял знания, готовился...

— К чему? Повторять чужие мысли?.. Не хмурьтесь, не хмурьтесь, пожалуйста, я не хочу с вами ссориться. Я только спрашиваю: на что вам британский музей и вообще заграница? Ваше дело там, в России, и не по ученой части, если не можете раздвигать горизонты, а просто в захолустье, в деревне... Не умеете быть оригинальным в науке, будьте в жизни.

— Позвольте, Наталья Петровна...

— Вы покраснели от злости, я не могу с вами говорить. — Нет-с, позвольте. Во-первых, вы за этот месяц могли бы убедиться, что, кроме музея, я кое-что изучал здесь, кое к чему присматривался... и нельзя сказать, что два года заграничной жизни пошли у меня

прахом. Это, пожалуй, можно сказать о шести месяцах, проведенных в вашем Париже, которые действительно ушли у меня почти зря...

— А нам говорили, что вы и теперь нет-нет да и появляетесь на больших бульварах.

— Да, чтобы повидаться с друзьями... и потом, разумеется, здешние туманы надоедают. Но не в этом дело. В Чердыни, кроме политической экономии, я читал газеты, получал письма... Помните, какое ужасное было время? Возможно ли было спокойно думать, спокойно устанавливать свои личные отношения, мечтать о мирной деятельности в мирном захолустье? Нервы непрерывно трепетали. Отовсюду, веяло ужасами, кровью, трагедией... Заграница дала мне на первый раз некоторое забвение, а потом и некоторое спокойствие. Наука, в которой я не сумел быть оригинальным, дала мне первый взгляд на вещи... То, что вы говорите о моей Куриловке» о моих «бывших крепостных», давно было моей целью, но очень недавно я понял, как осуществить эту цель... и понял опять-таки благодаря Лондону. Но не в этом дело. Сами-то вы зачем за границей? Жили в Италии,

на Ривьере, в Париже, вот приехали сюда... Зачем?

— Познакомиться с вами, ссориться с вами, надоедать вам... — Наташа засмеялась, потом воскликнула: — Ах ты, создатель мой, опять дождик! — И, обратившись к соседу, внимательно читавшему французскую газету, сказала: — Петр Евсеич, растолкуй нашему сердитому другу, зачем мы с тобой за границей. Ты ведь — отец, на тебе лежит ответственность за мои поступки.

Это был высокий в длинном светло-сером пальто человек лет за пятьдесят, очень румяный и моложавый, с необыкновенно рассеянными глазами, с каштановой бородкой, в которой густо серебрилась седина. Он отложил «Figaro», снял черепаховое *pinse-nez*, посмотрел на берега, в тот момент точно завешанные кисеею, и сказал с выражением какой-то ребяческой досады:

— Вот что обозначает не слушать старших, Наталья Петровна. К чему, спросить вас, тащимся за город? Окончательно выше моего понимания. Сравнимы ли здешние музеи с такими вот неосновательными пикниками.

— Вот что обозначает не слушать младших, Петр Евсеич, — шутливо передразнила Наташа. — Зачем за границей? Растолкуй лучше Алексею Васильичу. И ты забываешь, что Кью-Гарден тоже музей.

Но Петр Евсеич опять не обратил внимания на слова дочери и продолжал ворчать:

— Экое дело зелень-то смотреть; такое добро везде найдется. А между тем какие любопытные вещички у мадам Тюссо. Да и в бри-тиш-музее не успели нумизматику догля-деть. — Потом добавил, с чрезвычайной учти-востью обращаясь к Струкову: — И вас, Алек-сей Васильич, ежечасно от дела отрываем; чай, не похвалите своего парижского прия-теля за письмо и рекомендацию.

Наташа беззвучно смеялась.

— Признавайтесь, правда мы вам надое-ли? — спросила она.

Струков взглянул на нее и не сразу отве-тил. С того времени, как они хорошо познако-мились, — а это произошло очень быстро, — не проходило дня, чтобы Наташа не шпыняла его. Был он и теперь раздражен ее нападками и бесцеремонной критикой его планов и мыс-

лей... Но, как и всегда за последние две-три недели, стоило ему взглянуть на нее, стоило почувствовать вкрадчивую мягкость в ее голосе, и бесследно исчезала досада, и он не мог отвести глаз от этой сильной, стройной девушки, от ее смуглого лица, вечно заслоненного каким-то непроницаемым выражением, от этих гордо и страстно очерченных губ, на которых в ответ его влюбленному взгляду дрожал затаенный, ласковый, немножко хитрый смех.

— Я счастлив с тех пор, как узнал вас, — тихо и нежно сказал он по-английски.

Наташа вспыхнула от удовольствия, но тотчас же с притворно серьезным видом обратилась к отцу:

— Алексей Васильич говорит, что счастлив с тех пор, как узнал нас. Поблагодари его и спроси, зачем он сказал это по-английски. Какой, однако, у вас прескверный выговор, Алексей Васильич.

Струков густо покраснел и пробормотал какую-то дрянь: он никак не ожидал такого предательства. Потом воскликнул с негодованием:

— Что не мешает вам заставлять меня обращаться к прохожим и полисменам. Вы говорите не хуже моего, отчего же не обращаетесь сами?

— Оттого, миленький, что меня-то уж совсем не понимают, это во-первых, а во-вторых — я не хочу показаться смешною.

Петр Евсеич взглянул на них своими рассеянными глазами, надел опять *pinse-nez* и как ни в чем не бывало погрузился в газету. Пароходик не спеша пробирался по загроможденной реке, то и дело причаливая то к правому, то к левому берегу, забирая и выпуская пассажиров. Было позднее майское утро. Навстречу дул сильный теплый ветер и гнал пухлые облака, из которых едва не каждую четверть часа сеял мелкий теплый дождик. Впрочем, по-лондонски погода была хорошая: тотчас же вслед за дождем блистало солнце и серые пятна в небе беспрестанно сменялись глубокой лазурью. Отовсюду был слышен непрерывный гул. По мостам торопливо гремяли поезда; пароходы и лодки сновали, переполненные народом. В капризной игре теней и солнечного блеска выступали дальние

дворцы, парки, фабричные трубы... Струков и Перелыгины сели с Чаринг-Кросса, и до самого Чельси кругом них, как в калейдоскопе, сменялись лица, толпилась разнообразная публика, чуждо звучал язык. Иногда бывало так тесно, что Наташа поневоле прижималась к отцу, а тот, притиснутый и с другой стороны, высоко вытягивал локти, чтобы иметь возможность читать свою газету. Так же, как и Наташа, он ни слова не понимал, что говорилось кругом него, и отчасти от этого так пристально, до последней строчки просматривал «Figaro»... Впрочем и Струков, несмотря на то что отлично читал и даже умел писать по-английски, мог разбирать живую речь с большим трудом и лишь тогда, когда говорили ясно, отдельно и литературно. И прежде, до знакомства с Перелыгиными, Алексей Васильевич чувствовал себя безнадежно одиноким в этом море чуждых звуков, — совсем не так, как, например, в Париже, где все, начиная от языка, было ему не в пример знакомее и ближе; но теперь такое отрешение ему нравилось потому, что многлюдная пустыня как-то странно и на особый

лад сближала его с Наташей. Прежде он относился к Лондону с боязливым уважением и, в сущности, не любил его и действительно частенько убегал через Ла-Манш «отдыхать»; но с тех пор, как на его холостую квартиру в Россель-Стрит явились соотечественники, все изменилось. Вместе с разгоравшимся чувством к Наташе он стал питать преувеличенную нежность к этому огромному городу, который, казалось, одним своим видом убивал поэзию любви, а на самом деле покровительствовал ей, потому что не вторгался в их жизнь, как непременно вторгся бы Париж с его изяществом, соблазнами, красотой, с легкой усвояемостью французских нравов и интересов, с радостным шумом бульваров.

Но была ли любовь? О, за себя Алексей Васильевич мог поручиться. Он знал это уже потому, что не мог бы ответить, когда началась его любовь, с каких именно пор все ему кажется прекрасным в этой девушке, в какой именно день и час стало замирать его сердце от ее шагов, от шелеста ее платья, от звука ее голоса, от прикосновения руки к ее руке. Ему казалось, что это никогда не начиналось, а

было вечно. Ему казалось, что вечно он знал ее — одну только ее в целом мире и, как это ни странно, одну лишь ее он не мог бы описать постороннему человеку и, в свою очередь, не узнал бы в чужом, самом точном описании. Бывало так, что на мгновение он как бы отрешался от волшебного тумана, застилавшего глаза, и смотрел на Наташу, и говорил себе: да ее совсем нельзя назвать красивой; слишком смугла, ноздри велики, овал лица расширен к скулам, рот надо бы поменьше, в манерах есть что-то резкое какое-то самоуверенное удальство, — также и в мыслях и в словах... Но едва она поводила на него краешком глаза или звучал ее смех, ее удивительный, бархатный голос, и безвозвратно исчезала объективная точка зрения, сменяясь той единственной, с которой смотрит кто любит, с которой все внешнее в любимом человеке сливается с чем-то другим, и самое обыкновенное лицо становится разительным воплощением красоты. И, что всего страннее, Струков вовсе не тогда бывал «объективен», когда Наташа раздражала его своей насмешливостью; напротив, тогда он чувствовал, что

любит ее с каким-то злобным и бесповоротным самозабвением; но когда он впадал в раздумье о своей жизни, о судьбе и в связи с этим о чем-то чрезвычайно важном и таинственном, — о том, что на его же языке называлось «вздором» и «мистикой», тогда вот вспыхивало в нем это фотографическое настроение... Впрочем, чем дальше, тем реже и мимолетнее.

Но любила ли она? Как будто бы... А, в сущности, ее чувство напоминало Струкову море иноязычных звуков вот в этой публике, толпившейся на пароходе. Вдруг всплеснет знакомое слово, даже целая фраза, и сделается ясным обрывок разговора, и опять все потонет в непроницаемых волнах... Она любила бывать с ним, радовалась, когда он приходил, уговорила отца еще на неделю остаться в Лондоне, и вместе какая-то досада кипела у нее внутри... Одним словом, что-то мерещилось Струкову, что-то бросало его в радостный трепет, и, не смея выговорить даже самому себе, что его любят, он каждый день ожидал ясных слов или безмолвного разрешения на эти слова, ожидал, что огромное и

несколько страшное счастье хлынет на него точно девятый вал.

В Чельси они перешли на другой, совсем маленький пароходик, и сразу сделалось очень тихо и просторно. На палубе сидели только три немца с военной выправкой и непреклонными чертами лица, — они добро-совестно проверяли по Бедекеру речные виды, — да старушка англичанка с фальшивыми зубами и непомерным ридикюлем, да молчаливая компания американцев, равнодушно изучавших окрестности в ожидании ипсомских скачек. Темза становилась все спокойнее, уже и прозрачнее; от берегов выступали не грязные, как в городе, а желтые, золотистые под солнцем отмели. Городской шум доносился смутно. За лесом зданий и арками мостов давно уже исчезли и громада парламента с летящим ввысь кружевом своих башен, и дворцы Уайтголла, и церкви, и придавленный купол консерватории; мало-помалу пароходик миновал и бесчисленное множество скучных, седых, однообразных коробок, из которых составляются бесконечные улицы фабричных лондонских предместий. Потяну-

лась веселая кайма почти непрерывной зелени и неприметно слитых друг с другом городков, с тихими прекрасно вымощенными улицами, с поместьями богатой знати, с историческими «достопримечательностями», мало, впрочем, говорящими русскому сердцу.

— Это выше моего понимания, как тихо везут! — воскликнул Петр Евсеич, откладывая газету и снимая *pinse-nez*.

— Да ты потолкуй с Алексеем Васильевичем... ну хоть о вере, вот тебе и не будет скучно, — сказала усмехаясь Наташа.

— Вот уж в чем я совершенный невежда, — сказал Струков.

— Как же тогда судить обо мне, Алексей Васильич, — опять с чрезвычайной учтивостью произнес Перелыгин, и вдруг в его рассеянных глазах заблестал веселый огонек, — ведь я по завету предков еллинских борзостей не текох, риторских астрономов не читах, философию ниже очима видех... — Румяные щеки Петра Евсеича вздрогнули, и из румяных уст внезапно вырвался какой-то залихватистый, звонкий, всегда почему-то неприятный для Струкова смех: «ги! ги! ги!» — от ко-

того немцы точно по команде переглянулись и, оттопырив презрительно усы, пробормотали что-то по-своему. Струков только и разобрал: Die Russen...

— А я учился в гимназии, да потом прочитал Ренана, вот и все мое богословское образование.

Но этого было достаточно, чтобы Петр Евсеич круто повернулся к Струкову и заговорил с необыкновенным оживлением:

— Вот вы изволите говорить Ренан... Ренан вздор-с, Ренан слащавый человечешка, фразер, особенно в «Жизни Иисуса». В той же Франции есть куда посolidнее Ренана. Любопытен Гавет, — не читали? Еще того повострее Курдаво, — не ознакомились с его книжкой «Коман се сон форме ле догм»?

— «Comment se sont formé les dogmes» [1], — поправила Наташа.

— Все единственно, — сказал Петр Евсеич, — прононс, матушка, не в счет, кто к тридцати годам диалект выдолбил... Проницательный трактатец, — он похлопал себя по оттопыренному карману пальто, — переводик хочу состряпать; в Женеве, может господь

помилует, и тиснем, ги! ги! ги!.. А иное дело и это вздор, Алексей Васильич. То да се, историческая точка зрения, внешности... Любопытно-с, что говорить! Тюбингенская эта школа... занимательно-с... И параллели эти всякие... ги! ги! ги! Однако, на мой взгляд, все это для популярного чтения, — кто хватил выше, тому скучно на исторической точке зрения. Историческая точка зрения не только не все, но и не самое важное-с... ги! ги! ги! Удивляетесь?

— Напротив, нисколько. Для человека науки, я думаю, самое важное найти основные начала явления, его законы, и следовательно...

— Ну да, ну да, — нетерпеливо перебил Перелыгин, — вы вот изволите говорить Ренан, значит, пренебрегали богословием. А я всем ему обязан-с... Внутренний смысл-с... постройки-то внутренний смысл куда умней раскрывается, нежели по Штраусу, либо по господину Ренану. Удивляетесь?

Струков ответил:

— Вы ведь по необходимости шли этим путем? А то конечно, начали бы... не с схоластики?

— Никогда!.. — горячо возразила Наташа. — О, как вы действительно ничего не понимаете в этом. И что такое схоластика? Зачем схоластика? Ориген, Афанасий Александрийский, Григорий Нисский, Василий Великий — схоласты, по-вашему?

— Ориген — еретик? — с смущением пробормотал Струков.

— Эх, вы... еретик! — воскликнула она, кусая губы, чтобы не рассмеяться.

— Ну, ну, кипяток, молчи! — шутливо погрозился Петр Евсеич и с мягкой улыбкой опять обратился к Струкову: — Это вы правильно, Алексей Васильич, путь мой был по необходимости, почти из-под палки. А что Оригена анафемствовали — не суть важно. Я же вот еретик, по-вашему, — а скажу что-нибудь подходящее, вы ежели и не поверите, так примете во внимание... ги! ги! ги!

— Какой же вы еретик? — удивился Струков.

— Ну, раскольник, все равно да еще беспоповской секты — Спасова согласия-с.

Алексей Васильевич засмеялся и сказал — больше из учтивости, что и в этом так же ма-

ло понимает, но по Щапову судя — раскол учреждение почтенное.

— А как же не почтенное, — сказал Петр Евсеич, — афоризм: «Богомерзок-де перед богом всяк любяй геометрию», — у нас и до сих пор свят... ги, ги, ги! Нет-с, Алексей Васильич, и к Щапову, и к другим ох какие нужны поправки. Вот этак же в Париже пришлось мне насчет Выгорецкого общежития спорить. Они этого не понимают... Тятенька-покойник у меня был некоторый закоренелый столб, — что оставалось делать пока не вывернулся из его когтей? Да и после. Вы не поверите, был я уже глава фирмы, и... тово, развернулся... парти де плизир с французинками и прочее тому подобное... так покойница маменька собственноручно лестовкой отхлестала... ги, ги, ги!.. Аль, говорит, забыл сосуд сатанин, что в кормчей написано: «Або в судне будет латина ела, то измывши, молитва сотвориша»? Вот он каков был путь. Даже с творениями святых отец выходили чудеса: что по-словенски напечатано — читай, а по-граждански — не смей. Спасибо, один уважаемый старец подсобил, урезонил родителя. А с Фомой Аквина-

том... ги, ги, ги! Вот случилась история! Приобрел я тайком грамматику Кюнера, извольте видеть, хотел латынь выдолбить, Аквината прочитать, — ведь западную-то церковь без него не поймешь... Ну, было мне за эту латынь!

— Так и не научились? — спросил Струков.

— Нет, после уж... нанял сосланного ксендза. Как же, как же... и Аквината преодолел, это по варварской латыни, а по старинной — пакостного Овидия Назона прочитал... с ксендзом, с ксендзом — я! И именно это его любовное искусство... ги, ги, ги! Кстати, и в моей жизни подошла распутная полоса...

— Но что же вы нашли поучительного в Аквинате? — поспешил спросить Струков, никак не могший привыкнуть к свободе выражений, свойственной Петру Евсеичу да в присутствии дочери.

— Все одно, что в клинике, Алексей Васильич. Вот вы изволили сказать — схоластики... Поучительный предмет, доложу вам, — и не наша восточная, куда нам! А после расторжения церквей, после того, как великие восточные мастера стены-то уж воздвигли, дог-

маты утвердили... А латиняне тем временем... Чудное дело с Западом-то, Алексей Васильич: все их богословие в кружево ушло. Дерзости в существенном не было, за нее жгли, — дерзость разрывала с богословием, становилась ересью либо наукой, но зато правоверные таких кружев наплели — уму непостижимо... ги, ги, ги! И доплелись. Недаром и в настоящий момент святейший-то их поблажки им не дает: какую штуку сказал на ватиканском-то соборе! А прав, потому что по всей логике идет от Тертуллиана: кредо, квиа абсурдум есть...

— Credo, quia absurdum est[2], — поправила Наташа. Она будто бы читала брошенную отцом газету, а на самом деле, внутренне помирая со смеху, наблюдала за Струковым, который притворялся, что ему очень интересно.

— Ты все гордишься ученостью, Наталья Петровна, но это все одно, — сказал Петр Евсеич и, решительно не замечая изнеможения своего слушателя, продолжал с прежним увлечением: — «Верую, понеже бессмыслица», — завещал им Тертуллиан... Читывали? Нет? Напрасно-с... На манер нашего протопо-

па Аввакума был человек... ревности неугасимой. Это вот его кредо все западное богословие собой насытило, его неукротимый дух отрыгнулся в Торквемаде... ги, ги, ги!.. В полном виде якобинец был покойник, а Чаадаев скорбел, что мы не в том же приходе!.. Что же-с, отчего и не поскорбеть, ась? Но ежели взять Восток, Ориген — светило, Алексей Васильич, не шутя говорю — светило; а тем паче те, что вот Наташечка назвала... Я им всем обязан-с... Я после них так Ренана понял, что Ренан жидок-с, потому что на тех же ихних латинских коклюшках воспитался... Вот что такое Ренан-с. Критика его занимательна, да не в том дело-с. Она бьет, да только по католичеству, а не по вселенской церкви. Своя своих не познаша. Вот у нас теперь появилась критика... Читали? Посурьезней будет Ренановой...

— Кое-что читал... обрывки... Признаться, и это не по моей части. А вы как полагаете?

— Да как сказать... ежели коренным образом рассмотреть, так в новгородской летописи вот что записано: «Той же зимы некоторые философов начата пети: О, Господи помилуй! а друзей: Осподи помилуй!..» Первые-то,

значит, наша критика, а «друзеи» — ихний Ренан... — Тут Перелыгин залился почти до истерики, но потом точно спохватился и добавил: — Хотя занимательно, занимательно... для народа-с.

— Вы хотите сказать — для большой публики? — с недоумением спросил Струков.

— Именно для большой публики... для стада-с. Я вот и Курдаво собираюсь выпустить на российском диалекте... Тоже для стада. Что же-с, чем бы дитя ни тешилось. А на самом деле камень, на онъ же поставлена церковь, этим не расшатаете, нет-с... Да и на что, господи помилуй? Кружево обобьется... Фома-то Аквинат. Ну-с, что ж, не в кружевах сила. Ах, мудрецы были мастера... Первые, первые-то, Алексей Васильич, те, что и стадо прибрали к рукам, и высшие дерзновения духа насытили. Литургию Ивана Златоуста помните? Нет? Ги, ги, ги! Напрасно-с... Святые восточные отцы знали, что делали, а даже по части художеств далеко до них вашим Шекспирам. Гоголь очень это понял, ежели говорить по совести.

Неизвестно, долго ли продолжал бы Петр Евсеич ссылаться на совершенно незнакомые

и неинтересные для Струкова вещи и все более и более запутывал свои собственные мысли, взгляды и симпатии, но в это время Алексей Васильевич не вытерпел:

— Я вас решительно не понимаю, — вырвалось у него. — То вы собираетесь переводить вольнодумные книжки, то утверждаете, что не расшатаешь и не надо... и что обедня выше Шекспира?

Перелыгин взглянул на него, смутился...

— Н-да, на самом деле оно тово... не вполне по логике, — сказал он с беспокойной улыбкой. — Как, Наташечка?

— Просто вы говорите на разных языках, — сказала она.

— Да, да, на разных языках, — подхватил Петр Евсеич.

Струков пожал плечами и тотчас же раскаялся: такой на него был брошен гневный взгляд.

— Но какое же мировоззрение у Петра Евсеича? Мне очень интересно, — поспешил он спросить.

— Именно интересно, какое мировоззрение, — с видом заинтересованного свидетеля

подтвердил Петр Евсеич.

— Дело ясное, миленький родитель наш прежде всего безграничный вольнодумец и вместе большой охотник до этих вот богословских вопросов.

— Так, так, именно охотник... ги, ги, ги! — с удовольствием согласился Перелыгин.

— Церковь он любит не больше, чем Вольтер, — тоном насмешливой лекции продолжала Наташа, — но если католическую церковь считает чуть не язычеством, то в восточной видит такую внутреннюю силу, против которой и Ренаны, и Штраусы, и даже наша новая критика будто бы ни к чему. По его, это годится только для забавы... для игры ума.

— Правильно, Наталья Петровна! — с восторгом воскликнул Петр Евсеич.

— По его, если эта внутренняя сила церкви и ослабла, так не от вольнодумцев, а от сильных покровителей. И началось с Никона.

— А с Петра Первого паки и паки.

— Но принципы вселенских учителей будто бы живы даже теперь и будто бы дело Никона с течением веков сметется, и даже Рим повернет к Востоку, и что тогда действитель-

но «врата адовы не одолеют ю...». И будто бы человечеству так и надо, то есть массе...

— Сиротам, — вмешался Петр Евсеич.

— Да, сиротам. А избранным можно, во-первых, этим наслаждаться... ну, как наслаждаются архитектурой Notre-Dame или логической красотой Спинозы, а во-вторых, отвергать, так отвергать под самый корень. И не с исторической точки зрения, или как те, кто сам жаждет Христа, или как деисты, а просто — я, имярек, не нуждаюсь и не боюсь, и сам себе бог. Но это надо и годится только для них, для аристократов... А Петр Евсеич именно аристократ, несмотря что родился от самых заскорузлых кержаков. Вот почему он все отвергает: законы, совесть, веру... и вместе готов целые сутки доказывать правильность двухперстного сложения.

— Ну, пошла, пошла! — со смехом перебил Петр Евсеич. — Насчет совести ты врешь: ее можно называть иначе, а отвергать нельзя. Это выше моего понимания. А что касательно аристократизма — ты бы бога молила: дедушка-демократ давно бы тебя в светелку запечатал.

— Что ж, может, и лучше, если бы запечатал, — с внезапной серьезностью ответила Наташа.

— Вот шутка, Алексей Васильич, — весело сказал Перелыгин, — ведь правда, что ихний пол шалее на воле! Мать ее, Елена Порфирьевна, так ни с того ни с сего с судебным следователем от меня сбежала. Феербахом нас развивал, первый мой приятель был... Взяла и сбежала. Зачем, спросить ее? На вольном воздухе закружилась.

— А любовь позабыл? Впрочем, ты и любви не признаешь, — сказала Наташа.

— Я, матушка, все признаю, да действую-то не очертя голову. «Я же, согласно моему разуму, переписую себе и теми поучаются», — это Нил Сорский говорит, — а поступать без рассудка окончательно выше моего понимания. К чему? Зачем? Вот, Алексей Васильич, расскажу вам: был старичок один, петербургский купец Аристов. Он до того додумался — на общеженстве особую веру утвердил... с московским мещанином с Никитою Спициным... Так и прозывается — аристовщина. Вот это я понимаю.

— Все гнусные и пустосвятные воображения и их заключения по изrażенному таинству изbleвал сей адский сосуд, — проговорила смеясь Наташа.

— Неужели вы признаете мормонизм, Петр Евсеич?! — почти с испугом воскликнул Струков.

— То многоженство, а это — общеженство, — мягко поправил Перелыгин.

— Тогда и общемужество?

— Само собой.

— Но, в таком случае, простите меня... — Струков не решился докончить и только побагровел от негодования.

— Разврат, желаете сказать? — спокойно помог ему Петр Евсеич. — Да-с, кто развратен, для того разврат. Как и в единобрачии. А говоря вообще — самая трезвая постановка физиологического вопроса.

— Тогда и у хлыстов трезвая?

— Ги, ги, ги! Я и забыл про хлыстов-то. Да-с, и у них трезвая-с. Пожалуй, еще почище, нежели в аристовщине... Да что, Алексей Васильич, в этом деле нужно разобратъся. Ведь это страшные слова одни-с. Ведь ежели пони-

мать по совести — так либо безбрачие, и серьезное, по Оригену: отсеки уд твой, либо — туши огни, как у хлыстов. Само собой, у них это по-мужицки, но я принцип беру, не форму, — форму возможно обдумать и тово... поскладней. Но во всяком разе — где ваше единобрачие, там обязательно лупанарий, — хороша тоже поправка! — а ежели не лупанарий, так вот эти трагедии разные. Зачем, спрашивается, бежать к следователю? Сама чахоткой кончила, малый спился... Окончательно выше моего понимания. Вникните посмелей, отчего магометанство не знает проституции? Отчего у тех же хлыстов нравы не в пример чище, нежели в ваших православных деревнях? То-то и оно-то, Алексей Васильич. С природой очень умничать не пристало. Я вам вот еще что доложу-с...

Но дальше Струков не мог стерпеть. Теперь уже не смелость выражений возмущала его, а эта апология безнравственности, это «поругание любви». И не любви вообще, — о, если бы речь шла только об этом, теория Перельгина и то, что он рассказывал о странном сектантстве, пожалуй, заинтересовала

бы Алексея Васильевича и, кто знает, подвинула бы и его на смелые мысли. Но теперь ему казалось, что речь идет именно о его любви и что Наташа не даром так загадочно молчит, — что она, может быть, соглашается с отцом, может быть, представляет его безобразную теорию идеалом. И все в нем заныло от тоски, от негодования... от ревности, — от вихрем пронесшейся нелепой мысли, что Наташа, может быть, жила уже по Аристову! И он с необыкновенной горячностью напал на Петра Евсеича, с необычайным для самого себя красноречием стал доказывать, что «любовь столько же индивидуальна, как личность», что «коренья в темных недрах физиологии, она расцветает в самой высокой душевной сфере», что «это не физиологический вопрос, но вопрос всей жизни — больше чем религия».

— Кошунственно то, что вы говорите! Безбожно то, что вы говорите! — кричал он с такой яростью, что немцы опять презрительно зафыркали, а старушка с фальшивыми зубами пересела подальше. — Это значит сводить человечество к звериному состоянию... у зве-

рей ведь тоже нет продажного разврата и чистые нравы!.. Это значит растоптать святыню, погасить солнце, обратить мир в конюшню!

— Да постоит-ка... да погодите, Алексей Васильич, — с величайшим наслаждением от такой горячности противника возражал Перелыгин, — ведь это все метафизика, заезженные слова-с. Какая такая святыня? Что обозначает безбожие? Вы справедливо изволили говорить: дело не в том-с, дело в материи, в видимости, в фактах-с. «Иллюзии гибнут — факты остаются...» Ги, ги, ги! Чай, не забыли сего изречения?

— К чему тут иллюзии? Святыня — факт, а не иллюзия.

— Ага! А накормить голодного не святыня? Эрго! И то святыня, что делают реченные хлысты. Тоже голод, тоже пища.

— Черт знает что! Хлеб везде, для всех хлеб...

— И любовь везде, для всех.

— Нет-с, любовь так же, как звук голоса, черты лица, ум, талант, характер, — у всякого по-своему и, повторяю, составляет личность.

— Что же из того? Как ни расцветай в неде-

лимое, основной закон ведь для всех один: материя. Вы сами изволите утверждать: кто делает историю? — тепло, одежда, пища. А я добавляю: и половой аппарат-с. Вы говорите: на смену нынешнего строя объявится общинный, — и я то же провозглашаю... то есть о своем сюжете. Вы говорите: завтра не должно быть нищеты и драм из-за наживы, а я сверх того: и проституции, и любовных драм. Поми-луйте-с, вы только слов страшитесь... жупелов-с... а на самом деле вы в полном виде со мной согласны...

Это было совсем возмутительно. До нынешней поездки Перелыгин почти всегда от-малчивался, когда Алексею Васильевичу случалось высказывать свои взгляды на историю, и по всему было заметно — не разделял их, а теперь с явным лицемерием занимал ту же позицию и нагло компрометировал эти взгляды. И еще то злило Алексея Васильевича, что веселый блеск в глазах Перелыгина заменился каким-то острым, сухим, — «еретическим», так вскользь подумал Струков, — что в его голосе появились всхлипывания и взвизгивания — и в чертах неприятно румяного

лица захлебывающийся восторг, а заливи-
стый смешок звучал откровенной язвитель-
ностью. И вообще вся его манера спорить бы-
ла противна Струкову. В споре он не путался,
напротив ставил свою мысль прямо и резко,
со всеми последствиями, и точно ястреб впи-
вался в мало-мальски неопределенные сло-
ва и мнения противника, называя такую
неопределенность шумихой, махровыми цве-
тами, метафизикой. По его выходило так, что
если поэтическая любовь, так и бессмертие
души, и автократическое божество, и ка-
кие-то особенные мистические силы, — од-
ним словом, нечего отрекаться от катехизиса
Филарета и называть себя социалистом, если
верить в поэтическую любовь.

— Причем тут социализм, — грубо крик-
нул Струков, — можно быть социалистом и
верующим. Вон в Берлине придворный про-
поведник социалист, — и не дал договорить
Петру Евсеичу, начавшему было, что «это по
всякой логике ерунда: социализм в союзе с
церковью», а еще больше возвысил голос и
возвратился опять к вопросу о любви. И хо-
тя по какому-то тайному страху ни разу не

взглянул на Наташу, но говорил только для нее, одну ее убеждал со всею силою обостренной страсти, нежности... почти отчаяния.

Петр Евсеич несколько раз пытался перебить его, несколько раз вставлял язвительные ремарки, все упираясь на то, будто бы Струков сам себе противоречит, и наконец как-то совершенно по-бабьи взвизгнул, что социализм — вздор вопиющий, потому что «стадо» с обветшалым порядком мышления разорвать не может, а «избранные» не нуждаются в социализме, чтобы разорвать. Но когда Струков и на этот раз не стал слушать — и не бросился защищать социализм, и не рассердился, что его сопричислили к «стаду», Петр Евсеич совсем замолчал и только нетерпеливо подергивал свою бородку да ерзал на месте, потом учтиво, но уж без всякого блеска в глазах стал смотреть на Струкова, потом сделался рассеянным и скучным, даже пробормотал: «Эка врут, разбойники!..» Наташа упорно смотрела в газету, изредка лишь бросая взгляд на Алексея Васильевича. Впрочем, ни одного его слова не пропустила, а в «Figaro» ни одного слова не поняла. Потом

вдруг встала и воскликнула смеясь:

— Аминь!.. Кью-Гарден, господа диспутан-
ты. Ой, есть хочется!

С пристани пошли к парку и по дороге слегка позавтракали в крошечном кабачке. Пользуясь тем, что Струков волей-неволей перестал излагать свои монологи, Петр Евсевич и когда шли от пристани, и за завтраком, и даже когда ходили по теплицам покушался возобновить спор, задирая на все лады своего противника, но дочь каждый раз останавливала его.

— Отец! Дай фонтану отдохнуть, сказано у Пруtkова, — твердила она и однажды послала обычную стрелу по адресу Струкова, добавивши, что под фонтаном надо понимать его «неистовую» защиту любви «единой и нераздельной, как французская республика». Впрочем, Струков не огорчился на этот раз, а, напротив, пришел в тайный восторг: сказано-то это было так ласково, с таким милым оттенком близости, — с сочувствием к его защите. И, вообще, как только сошли с парохода и как только Алексей Васильевич осмелился поднять глаза на Наташу, он понял по ее смягченному взгляду, по ее прелестному лицу, с

которого на этот раз совсем исчезла столько мучившая его непроницаемость, что он был нелеп в своих подозрениях, что она на его стороне, и мгновенно его настроение сделалось радостным, и вся душа опять переполнилась жутким и волнующим чувством ожидания. В этом настроении он и в Петре Евсеиче не замечал теперь ничего отталкивающего; ему было только весело смотреть на него, весело наблюдать, как тому все хотелось спорить, а Наташа останавливала. И хохотал же Струков, когда за завтраком Наташа с несравненным комизмом рассказала, как в Риме Петр Евсеич познакомился с одним патером из русских и ровно двадцать часов спорил с ним о преимуществе церквей, а в Париже столь же бессонно опровергал знаменитого русского агитатора, доказывая, что тот проповедует «барщину» и что Выговское общежитие совсем не социализм.

— Ну, пошла, пошла стрекотать! — шутиливо ворчал Перелыгин. — Сама же ты до утра в постель не ложилась, слушала. Да еще подсобляла отцу... Не как теперь, не дашь рта разинуть.

Как был хорош Кью-Гарден! Струков не раз посещал этот парк, но ему казалось, что никогда здесь не было такого солнца, такой яркой и сочной зелени и вообще такой праздничной красоты. Дождевые облака почти совсем рассеялись, ветер утих, на лужайках блистала роса, блестели обмытые листья на деревьях, в воздухе веяло теплом и благоухающими испарениями. Наконец-то Наташа восхищалась без всяких ссылок на превосходство Парижа; даже сказала, что ни с чем нельзя сравнить эту сильную, богатырскую растительность; что она теперь только понимает, как скучна французская манера разводить публичные сады с сплошными аллеями и мелким щебнем вместо газона; что одинокие деревья, луга, рощи, раскинутые живописными островами, гораздо лучше всяких Версалей и Люксембургов.

Но Петр Евсеич изъяснял восхищение только в оранжереях, и то, по словам дочери, лишь потому, что в нем проснулся неисправимый коллекционер, любитель курьезов. Действительно, в богатых коллекциях Кью-Гардена его больше всего интересовало все

исключительное, редкое: огромные пальмы, папоротники, кактусы, прихотливые с бесчисленными оттенками орхидеи, неправдоподобной величины victoria regia. С удовольствием отметил он и порядки, язвительно сравнивши их с отечественными: странное отсутствие начальства и привратников, легкомысленное доверие к публике, преступное безразличие между «чистым» и «черным» народом. Но после оранжерей и после того, как осмотрели «пагоду» и недавно открытую North-gallery, и «американский сад» с магнолиями, и постояли около прекрасного озера с свежими, бархатными берегами, и вступили наконец в пределы Aboretum'a, где Наташа тотчас же стала восторгаться могучими деревьями, стволы которых ужасно были похожи на вороненую сталь, и еще особой породы букком с багровой листвою, — после всего этого на благообразном лице Петра Евсеича появилась такая скука, а рассеянные глаза с таким равнодушием стали скользить по окружающему великолепию, что Наташа с улыбкой посмотрела на него и сказала:

— А знаешь, Петр Евсеич, мы тебя отпу-

стим. Но что ты будешь делать один?

И Струков не мог не засмеяться при виде внезапного оживления Петра Евсеича и как он проворно вынул из кармана желтенький томик Courdaveaux [3], и, учтиво раскланявшись, направился к скамейке. Здесь и уговорились встретиться.

Молодые люди пошли одни в глубь парка. И как только остались одни, Наташа чаще стала восклицать: как это хорошо! какой величественный дуб, или бук, или каштан, но восклицала не прежним искренним голосом, а точно по обязанности, и чтобы не говорить того, что хотелось бы сказать без всякого отношения к дубам и каштанам. У Струкова тревожно билось сердце. С чувством, похожим на сновидение, он видел, что происходит в душе Наташи, о чем она думает сейчас, отчего вздрагивают и сохнут ее губы и заметно волнуется высокая грудь... Слова признания, любви, страсти так и толпились в его воображении; и вдруг с побледневшим лицом, с страдальческой улыбкой на губах, но сам изумляясь своему развязному тону, он сказал в ответ на ее новое восклицание:

— Я уже заметил, что Петр Евсеич не терпит живописи, стихов и вообще искусства. Помните, как он скучал перед эльджинскими мраморами и смеялся, когда я хвалил Надсона, и облил презрением «Видение святой Елены» Веронеза? Но оказывается, то же самое и с природой.

— Да, он говорит, что и красота нужна только для народа... для стада, по его терминологии, — сухо ответила Наташа.

— Какой, должно быть, несчастный человек ваш отец!

— Почему же?

— Но чем жить после этого?

— Он говорит — рассудком, размышлением, а в промежутках тем, что занимательно. Он ведь богат и живет бездною интересов. Собирает монеты, кресты, иконы, рукописи; разводит породистых свиней; любит рысаков, изобретает для них упряжь, экипажи. Теперь вот купил большое имение... Мало ли чем живет! Впрочем, решительно ничем не дорожит и в любую минуту может бросить все. — Наташа помолчала и потом добавила с особенным чувством: — Это единственный ори-

гинальный человек, которого я до сих пор встречала, и я его страшно люблю.

— Далась вам оригинальность, — пробормотал Струков, но Наташа не расслышала, о чем-то думая. Алексей Васильевич с отчаянием чувствовал, что в ее настроении происходит какая-то зловещая перемена и что еще немного — и самое важное так и останется не высказанным, может быть, навсегда... и все-таки продолжал: — Воображаю, как для него нелепы его прежние единоверцы.

— Почему? — с удивлением спросила она. — Почему прежние? Во-первых, он и не думал разрываться с ними: спросите-ка, какой документ везет из Рима в обличение одного из Никоновых новшеств. А во-вторых, совершенно уверен, что в деле раскола даже формальная правда не на вашей стороне.

— Даже формальная?! — воскликнул Струков, широко раскрывая глаза.

Это восклицание ее совсем рассердило.

— Ах, создатель мой, да вы читали когда-нибудь серьезную старообрядческую литературу... Ну хоть «Поморские ответы»? — сказала она. — Знаете ли, кто при царе Иване

Грозном постановил признанный православный собор и как этим постановлением полтора ста лет руководились все святители и иерархи? Ведь легко было никонианцам сказать о Стоглаве «яко же не бысть» и предать его анафеме, но последовательным людям нельзя было согласиться с этим. А «Проскипитарий»? А «Прения с греками о вере»? Известно ли вам, что был Арсений Суханов? Это был царский патриарший, с вашей стороны посланец, а что он рассказал о церковном невежестве тогдашних греков, о том, как помутился источник, из которого Никон поил Русь. А невероятные гонения! Не говорю о таких наших мучениках, как Аввакум, «протосингел российской церкви», — он сам очень уж огрызался, но народ, но масса. «Всюду плач и вопль, и стонание, — пишет очевидец, — вся темницы во градах и в селех наполнишася христиан древляго держащихся благочестия; везде чепи бряцаху, везде вериги звеняху, везде тряски и хомуты Никонову учению служаху, везде бичи и жезлие в крови исповедничьей омочахуся»... Да что очевидец! Вспомните самосожжения — уж о них-то, наверное,

слыхали, вспомните законы царевны Софьи — «Двенадцать статей» их называют, — что ни статья, то плаха и кнут, и пытки... Этого, ей-ей, достаточно, чтобы оправдать в старообрядчестве даже уклонения от формальной правды, даже нелепость... все, все!

Наташа грозно взглянула на Струкова и вдруг рассмеялась: восторженное выражение его глаз чересчур свидетельствовало о том, что он наслаждается звуком ее голоса и разгоряченным лицом и более чем равнодушен и к «Никоновой ереси», и к «древнему благочестию».

— Вот уж я думаю, никогда не слыхал Кью-Гарден таких речей, — сказала она.

— Но как вы это все помните!

— Я дочь своего отца, Алексей Васильич. А потом, вот как придут к нам бывало старички да старушки и просят почитать. И читаешь им про старину, а они, миленькие, плачут и умиляются. Ведь есть вещи изумительные по своей душевной красоте; хоть бы взять письма Аввакума к Морозовой. Я на что крепка — и то слеза прошибала. А читаю я хорошо, истово, с чувством. Ах, создатель, как я любила

наши тихие вечера!

— Но сами-то вы, Наталья Петровна, неужели серьезно смотрите на вероисповедные различия?

Наташа, в свою очередь, широко раскрыла глаза.

— Чудак вы, — ответила она, усмехаясь, — я с четырнадцати лет «Русским словом» зачитывалась, — и весело продолжала: — А знаете, кто меня развивал? Вовсе не Петр Евсеич: ему вечно недосуг, он был у меня учитель, из профессоров никонианской семинарии... ой, ой, какая пика!

— И вы, как это бывает, полюбили своего учителя? — с насильственной улыбкой спросил Струков.

— Я? Нет. Я никогда никого не любила. Но он, хитрец, готовил меня в супруги... а вместо того взял да на моей француженке женился. Петр Евсеич дал ей приданое.

— А зачем вы сказали, что было бы лучше запереть вас в светелку?

— Разве я сказала? — с смущением выговорила Наташа и после мимолетного колебания ответила: — Потому что сама не знаю чего хо-

чу... Потому что когда узнаю, не остановлюсь ни перед чем...

— А на пароходе вы согласны были со мной! Вы были за меня, я это видел. Ведь вы согласны, что любовь как это солнце?

— Не знаю... Не встречала такой любви.

Струков прикоснулся к ее руке, и, весь холодея от какого-то сладкого ужаса, прошептал с нежностью:

— Милая моя, разве вы не видите, что я люблю вас именно так, именно такую любовь... — Она молчала, не отнимая руки. — Я люблю вас, — повторил он тоскливо.

— А не боитесь меня? — сказала она своим прежним насмешливым голосом. — Я ведь дочь своего отца: свободу выше всего ставлю.

Но рука ее, обтянутая лайковой перчаткой, так беспомощно дрожала в его руке и так была горяча, что ему почудился совсем иной, не насмешливый, не угрожающий ответ, и с уверенной смелостью он привлек к себе девушку, ища ее взгляда, ее лица, ее поцелуя.

— Друг мой, милый друг мой. Я ничего не боюсь, я люблю тебя, — говорил он, сам не замечая, как музыкально и вкрадчиво звучит

его голос.

Наташа положила руки на его плечи, подняла лицо... О, какая на нем торжествующая, радостная и вместе недоумевающая вспыхивала и погасала улыбка!

— Мне кажется, что и я вас люблю... Конечно, люблю! — прошептала она и точно огнем обожгла его губы. Потом выскользнула из его объятий и торопливо пошла вперед, повторяя: — Пойдем, пойдемте... Нехорошо в публичном месте целоваться.

Час спустя они сидели на берегу Темзы. Это было в том идиллическом уголке Кью-Гардена, где река едва движется, отражая в своем зеркале и склоненные над нею деревья, и изумрудную тень изгороди, и потонувший в садах того берега городок с старинным серым замком. Стояла тишина, как где-нибудь в глубине России, и только стучало весло о корму одинокой лодки, да иногда взвизгивал локомотив в отдаленье, и смутно, тем ровным и важным гулом, что бывает в сосновом бору, напоминал о себе огромный город. Дорожка вдоль берега была в этот день так же безлюдна, как и весь парк вдали от теплиц. Редко

проходили посетители и раздавался иноязычный говор. Но Наташа не обращала никакого внимания на этих редких прохожих и нетерпеливо хмурилась, когда Струков понижал голос при их приближении, выпускал ее руку, старался погасить влюбленное выражение на своем лице. В ее голосе и словах не было теперь и тени насмешливого задора, в странно похорошевшем лице не было и тени непроницаемости, вся она сосредоточилась в каком-то стремлении и не сводила глаз с Алексея Васильевича. А он говорил о своем прошлом, о своих намерениях, о том, что, действительно, «какой же он ученый!» и что самые затаенные его мечты всегда влекли его в русскую глушь, в деревню, на скромную культурную работу.

— Миленький мой! — прерывала она его, и в этом привычном обращении звучала теперь совсем другая нота. — Миленький ты мой! Это уже решено, и мы воротимся вместе... на матушку-Волгу!.. На Волгу — широкое раздолье, а не в твою мурью — Куриловку... Я ведь тоже никогда не жила в деревне и тоже стремлюсь в нее... А, натворим мы с тобою чу-

дес!.. Но ты Расскажи, как полюбил меня. Все мелочи, все подробности Расскажи... с самых тех пор, как мы разыскали тебя. Ну, вот я вошла... Или нет-нет, прежде я спрашивала о тебе, и горничная не понимала, а ты услышал мой голос и отворил дверь. Помнишь? Помнишь? Ты мне только понравился, понимаешь ли? Гляжу, — среднего роста человек, глаза печальные, глубокие и такие славные кудри. И все потирает руки, будто от холода... и ласковая улыбка. Но и только, миленький, не хочу тебя обманывать. Потом не знаю... Должно быть, ты зажег меня собою. Ведь это бывает? Да? Бывает?.. А все-таки как я тебя злила, когда ты зажег меня, как мне хотелось тебя злить... И знаешь, когда ты сердился, мне это очень, очень в тебе нравилось... О, мягкостью меня не проймешь, я ведь — «супротивная»! И ты красивее, когда сердишься... знаешь ты это? Вот когда бунтуешь и еще теперь... Посмотри, посмотри на меня: ты сейчас поразительно хорош... А что хорошо это, что я по ниточке могу тебя разбирать, а? О, дорогой мой, Алеша мой!.. Неужели опять идут?.. Противные люди!.. Ну, рассказывай

все, все, все... Нет, подожди. Не правда ли как чудно: вдруг мы неизвестно зачем приезжаем в Лондон, знакомимся с тобой, ходим в музеи, в парламент, на митинги, осматриваем все, что обозначено звездочкой у Бедекера, и вдруг женимся. О, какие чудеса!.. Не смотри на меня так, не хочу... Рассказывай. Или нет, миленький, еще секундочку. Ведь это та самая любовь, о которой ты говорил? Мне так хочется ласкать тебя, целовать, обнять тебя крепко, крепко... Ведь та самая?.. Но зачем же Петр Евсеич говорит свое? Неужели и он прав? И любят друг друга, стыдно сказать отчего? И когда погасает кровь — погасает любовь? О, милый мой, это бывает, и как я думала над этим, как мучилась... Я отлично помню, как это было в последний раз с отцом — вот с той француженкой, что вышла за профессора. Какой ведь красавец был мой Петр Евсеич и сколько у него было приключений... И знаешь, дорогой мой, он логичнее тебя... Молчи, молчи, я только о том, что если материя, — понимаешь ли? — то он логичнее тебя, что в твоих рассуждениях есть скачок, на который ты не имеешь права, если только одна

материя. Молчи же, Алеша, иначе я не посмотрю вон на тех долговязых, — должно быть, давешние немцы? — и поцелую тебя... Та, та, та, вам, кажется, не нравится, что я так откровенна? И что не похожа на очень благонаправных девиц?.. То-то!.. Но я хочу по-твоему любить, я люблю тебя по-твоему, мой желанный... А ты?..

Сколько раз и с какой мучительной ясностью Струков вспоминал впоследствии этот лихорадочно-быстрый лепет, в котором точно искры в дыму не рассуждающей страсти мелькали зловещие сомнения, сквозила неутомонная, мятежная душа. Но теперь он только слышал упоительную музыку признаний, видел только взволнованное лицо, неизъяснимая прелесть которого напоминала ему полузабытое впечатление от какой-то чудесной сказки, и готов был заплакать от счастья... А жемчужные облака отражались в реке; где-то звонко щебетала птичка; зеленели луга и деревья, окропленные сверкающей росой; стояла тишина, как в далекой, милой России.

Было около шести часов. Наташа устала и

успокоилась, и шла под руку с Струковым в тихом и кротком настроении. Но, завидя вдали Петра Евсеича, сидевшего на том же самом месте с развернутой книгой в руках, она снова оживилась и шепнула Струкову:

— Ты посмотри, какой милый чудак! Знаешь, давай не сразу скажем ему, а будем при нем на «ты», вот увидишь, он ничего не заметит. — Потом сказала громко: — Жив? Дочитал своего безбожника?

— Скоренько осмотрели, — произнес Петр Евсеич, вскидывая на нее более чем когда-нибудь рассеянные глаза. Затем аккуратно сложил книжку, посмотрел на часы и вскрикнул с внезапной досадой: — Это окончательно выше понимания, как вы долго ходили!

— А ты только теперь и заметил? Слышишь, Алеша, он теперь только заметил, что долго. Может быть, ты и есть захотел?

— Еще бы, матушка, не захотеть, давно пора. Слыханное ли дело — приехать в Лондон зеленъ смотреть!.. Целый день убили!..

Наташа, едва сдерживая душивший ее смех, толкнула Струкова. Тот начал было: «Милая Наташа...», но страшно покраснел и

запнулся.

— Ну милая, ну Наташа... А дальше, дальше-то что? — с звонким хохотом восклицала она. — Петр Евсеич? Да посмотри же, какой он уморительный... совершенный жених!

— Своевольница, Алексей Васильич... Извините великодушно, — с учтивой улыбкой, но по-прежнему с рассеянным выражением в глазах сказал Перельгин.

— Да говорю же тебе — жених! Он сделал предложение, я приняла... соглашайся теперь и ты, если ничего не имеешь против метафизика, марксиста, никонианца и дворянина без определенных занятий.

— Это действительно так, Петр Евсеич, — стыдливо сказал Струков, приискивая торжественные слова, — и я имею честь просить у вас руки Натальи Петровны.

— Разумеется... Весьма благодарен... — с совершенным недоумением пробормотал Петр Евсеич, прикасаясь к полям шляпы, но тотчас же понял по лицу Струкова, что это уже не шутка, и с печальным и растерянным видом обратился к дочери:

— А как же я-то, Наташок?

— Ах, создатель мой, да неужто думаешь, я тебя покину? — вскрикнула Наташа. — Слушай мой план. Ты отдашь нам Апраксин хутор — это и будет Алеше вместо ценза, а сам, как и хотел, станешь жить в Старом Апраксине... и у нас, либо мы у тебя — каждый день, каждый день, — ведь семь верст всего! — И повторила растроганным голосом: — Неужто я тебя брошу, миленький мой!

Петр Евсеич несколько повеселел.

— А! Это иное дело, — сказал он, — я было подумал, что здесь останешься. Да что же, вы по выборам желаете служить? Выбрать выберут — народу у них мало... то есть цензовых-то дворян.

— Я бы хотел попробовать в мировые судьи.

— И в мировые выберут-с. Отрекомендуем вас, познакомим... Мы, признаться, были вот с ней в тех местах только однажды, да и то на неделю, — вот эти барские маетности покупали; но в уезде я кое-кого знаю, рекомендация нашей фирмы кое-что значит... ги, ги, ги! Ну-с, двинемся теперь в дининг-рум, а то и места не сыщешь.

В ресторане Петр Евсеич тоже казался веселым, но, против своего обыкновения, мало ел, не критиковал кухню и не старался заводить споры. За вторым блюдом он вдруг заговорил о своем состоянии, о том, что может передать Наташе сейчас и что после смерти, и все это каким-то нотариальным слогом... Струкова передернуло и от этого слога, и от того, что Перелыгины оказывались гораздо богаче, нежели он предполагал, судя по их скромной жизни в Лондоне.

— Я должен заявить, что мой доход не больше пятисот рублей, — перебил он почти неприязненным голосом, — именице мое заложено и то, что взято под него в банке, почти все уже истрачено за границей.

— Ну, какой же ты мне муж после этого! — со смехом воскликнула Наташа.

— Вот почему мне бы и хотелось, чтобы ты имела не больше моего.

— А наши затеи, миленький? Школа? Ссуды? Медицинская помощь? Ферма?.. Да что о чем заговорили... Ни слова о презренном металле, материалисты...

Но неловкое настроение возвратилось, ко-

гда речь зашла о свадьбе, о том, что потребуется двойная процедура: присоединение Наташи к православию, и венчание, и возможно ли все это устроить в Париже.

— К чему же это? — тоскливо протянул Петр Евсеич. Струков подумал, что его смущает переход дочери в православие, и, внутренне улыбнувшись на такую сектантскую закоренелость в «вольнодумце», начал прибирать доказательства в пользу того, что это лишь одна форма.

— Да и я говорю форма, — с кислой усмешкой сказал Петр Евсеич, — к чему же это-с?

— Но как же в таком случае? Я не понимаю.

— Помилуйте, чего же тут не понимать-с? Самое простое человеческое дело. Вам желательно жить с Натальей Петровной, ей — с вами, оба вы люди взрослые и в здравом уме, живите как хотите... покуда полюбится.

Струков потупился и с преувеличенным усердием стал резать ростбиф.

— Ты забываешь деловую сторону, — вступилась Наташа, — кто он таков явится в наш уезд? И как быть с цензом, если я буду неза-

конная жена? А главное — не стоит тебе кипятиться из пустяков.

— Окончательно выше моего понимания! — недовольно сказал Петр Евсеич, а к концу обеда спросил шампанского, торжественно поднял свой бокал и взволнованным голосом провозгласил: — Как вы там хотите, а по моему родительскому благословению ты, Алексей, будь ее мужем, и ты, Наталья, его женою. Считаю вас отныне в браке. — И, выпив вино, добавил с простодушной язвительностью: — Этак и развод обойдется дешево, ежели вздумаете расходиться... Ги, ги, ги!..

Сконфуженный Струков не нашелся, что сказать, и, не смея взглянуть на Наташу, стал прихлебывать маленькими глотками, а она проронила только: «Это еще успеется», — и, внимательно прищурившись, следила за игрою шампанского в своем нетронутом бокале... На самом деле ей вдруг отчего-то вспомнилась мать, и сделалось грустно, и захотелось остаться совсем, совсем одной.

После этого прожили еще неделю в Лондоне. Все время стояло почти непрерывное ненастье, а между тем в воспоминаниях Стру-

кова эти серенькие, дождливые дни остались самыми яркими в его жизни. Как прекрасен казался ему великий город с туманными перспективами бесконечных улиц, с гремящим потоком кебов, омнибусов и железнодорожных поездов, с мелодическим звоном бубенчиков на конской сбруе, с безграничным морем колыхающихся зонтиков над идущей и едущей толпою, с строгими очертаниями зданий, точно выкованных из цельного куска темного, отполированного дождями и туманами железа.

Петр Евсеич «доглядел» коллекцию m-me Тюссо и «нумизматику» в британском музее, потом безвыходно засел в отеле над переводом пресловутого Courdaveaux. А молодые люди с утра уходили вдвоем и до позднего вечера скитались в дремучем лесу улиц и зданий. Струков, несмотря на то что провел в Лондоне уже два года, плохо знал город. В сущности, он легко разбирался только в улицах, примыкающих к Россель-стриту, да за последнее время изучил окрестности Лейстер-сквера, где находился отель Перелыгиных, но дальше, и особенно на правом берегу и на окраи-

нах, чувствовал себя без Бедекера точно в какой-нибудь тайге. И вот в этом-то и состояло теперь главное удовольствие. Они нарочно не брали с собой плана и не намечали цели своих путешествий, а условились раз навсегда, что совершен будет означать «направо», а полкроны — «налево», — монеты, сберегаемые Наташей на память об Англии, — и, обыкновенно, выходя из отеля, Наташа с серьезнейшим видом спрашивала: «Золото или серебро?» Струков, посмеиваясь, указывал на ту или другую ее руку с зажатой в кулак монетой, потом они останавливали омнибус, влезали на верхушку, укрывались кожаным фартуком и весело пускались в путь. Несмотря на пасмурное небо, а иногда и на сетку упорного мелкого дождя, с имперIALа было так хорошо видно... Но лучше всего бывало, когда омнибус летел где-нибудь по Чипсайду или Странду, или Флит-стриту и вдруг разрывались тучи. В золотистом тумане испарений развертывалась тогда картина такого невероятного многолюдства, такого захватывающего дух движения, что Наташа волновалась как от вина и, нетерпеливо теребя Струкова за ру-

кав, восклицала:

— Смотри, смотри же, миленький... даже жутко!

Наконец омнибус останавливался; они шли пешком или нанимали кеб до ближайшей станции Metropolitan'a, покупали билеты, называя первый пришедший на память пункт, спускались в подземелье, долго иногда сидели там, наблюдая поезда, каждые пять минут извергавшие и принимавшие сотни пассажиров, затем, в свою очередь, брали приступом тускло освещенное купе, и выходили на свет божий где-нибудь далеко-далеко от центра, но где опять-таки тянулись бесконечные улицы и кишела несметная толпа. Впрочем, случалось попадать и в тихие места; поезд вырывался из туннелей и глубоких выемок, мчал их то в уровень с тротуарами, то выше домов, в окна мелькали почти деревенские виды... и вдруг — неизвестная станция. Струков с Наташей выбегали из вокзала, со смехом спрашивали друг друга: «Где же мы?» — и спешили занять места в неизвестно куда уходящем трамвае. Лошадка бежала умеренной рысцою вдоль по рельсам; по сторо-

нам приветливо сверкали чистыми окнами однообразные особнячки с отполированными дверями, с блестящими от дождя деревьями, с цветниками против каждого дома; а не то тянулись бульвары вдоль широких превосходно вымощенных улиц или внезапно открывался свежескошенный луг с играющими на нем детьми и молодежью, если не было дождя. «Да где же мы?» — спрашивали наши путешественники у соседей, и оказывалось, что это давно уже не Лондон, а какой-нибудь Фулям, или Гаммер-шмит, или Чизвик. А тем временем трамвай доставлял их на площадь непременно с кабаком посередине и останавливался. Час или два бродили они по городку, потом брали вечно угрюмого кебмена и ехали к Темзе, и пароход опять привозил их в самое пекло.

Скитаясь таким образом, они заходили в какой-нибудь *diningroom* или *luncheonbar*, обедали с необыкновенным аппетитом или наскоро съедали кусок мяса стоя у прилавка. И сколько было переговорено во время этих бесцельных странствий и длинных обедов с глазу на глаз. Сколько было сделано планов,

какие широкие намечены перспективы... Жизнь великого города точно подзадоривала из своим серьезным темпом, и Наташа соглашалась теперь, что это «подзадоривание» совсем не то, какое чувствуешь в Париже.

— Пойми ты, дорогая моя, — с увлечением говорил Струков, — в Париже даже камни, вроде знаменитой стены в Риге — Lachese, вопиют о кровавых традициях, о страстной нетерпимости партий, о безграничных претензиях государственности, о могуществе произвола, фразы, декламации, абстрактных идей, о торопливых достижениях свободы и столь же торопливых отречениях от нее... Я не спорю, временами этот способ развития страшно красив, — куда медлительной Англии...

— О да, страшно красив! — восклицала Наташа.

— Пусть так; зато именно в Англии что достигается, то прочно, и в конце концов без особых катаклизмов утверждено почти совсем человеческое общежитие... во всяком случае, человечнее французского.

— Миленький мой, а колониальная поли-

тика? А Ирландия? А кое-какие делишки в Индии? А пауперы — этот ужасный Уайтчепель, где мы вчера так долго бродили?

Но Струков красноречиво напоминал ей, что такие грехи везде есть и даже в превосходной степени, и нет нигде столь искренней и дружной работы для осуществления самой бескорыстной справедливости. Во Франции, говорил он, все возлагается на правительство, в Германии — на дисциплину партий и феррейнов, здесь — главным образом на свободную личность, на ее права, инициативу, волю. И указывал на возрастающую деятельность английской интеллигенции в сфере разных общественных вопросов, на возрастающее уважение к чужим верованиям, правам, интересам, на эту законность в крови, на спокойное чувство личного достоинства, одинаковое у лорда и простого рабочего, на поступательный ход нравов, идей, отношений, делающий то, что Англия Диккенса и Теккерея быстро становится анахронизмом. Наташа слушала, любовалась убежденным лицом Алексея Васильевича и серьезным звуком его голоса, — и почти всегда соглашалась, ее

столько от его слов, сколько от этого выражения убежденности в его голосе и лице. Впрочем, иногда и спорила... Раз в каком-то предместье им встретились на улице каменные свежеокрашенные столбы, на которых когда-то навешивались ворота, загораживающие улицу; в столбах и теперь виднелись прочные крюки для петель. Прохожий объяснил им, что, начиная отсюда, городок стоит на земле его лордства герцога Аргайля и что этот герцог, если захочет, может во всякое время навесить ворота и запереть улицу. Наташа ужасно возмутилась такой прерогативой его лордства, и вот тут-то вышел у ней с Струковым горячий спор. Алексей Васильевич настаивал, что и это хорошо; что в этом оказывается глубокое чувство законности — благодетельный дух компромисса, при котором развитие гораздо прочнее, нежели при насильственном истреблении каких бы то ни было столбов.

— Разрушать легче, чем видоизменять, — убеждал он рассерженную Аргайлем Наташу, — зато разрушенное легче и восстанавливается, и иногда в худшей форме. Аргайль, ко-

нечно, никогда не запрет улицу: его столбы — лишь символы, увядшие листья старого законодательства. А вспомни вандомскую колонну... и еще многое, что было разрушено и расцвело снова.

— Но ты скажешь, что и розги хороши, если они в законе? Что и это варварство нужно видоизменять, а не истребить сразу и с корнем?

Струков возмущался таким толкованием, говорил, что против «варварства» нужно бороться решительно, сметать его, по возможности, до основания, но что борьба-то пусть будет целесообразна, — и в конце концов и на этот раз почти убедил Наташу... опять-таки не столько аргументами, сколько выражением голоса и лица.

Но обращаясь к далекой родине, они были всегда единодушны. Дружно мечтали, как будут работать там вот на такой закономерный лад, как в не столь отдаленном будущем гоголевская и щедринская Россия тоже сделается анахронизмом — и без всяких «революций», а постепенным развитием сознания, законности, довольства, бескровными жертвами,

культурными силами, осуществлением скромных задач. Правда, в этих дружных мечтах сквозили различные точки зрения: было заметно, что Наташа строила планы без всяких особых соображений, а просто потому, что любила деревню и простых людей, и еще любила того человека, с которым собиралась «работать». Струков же больше всего любил «человека», то есть ее, Наташу, а деревенскую деятельность, как и прежние ученые свои планы, определял «трезвыми» доказательствами, основанными, как ему казалось, на строгом, почти лабораторном опыте. И иногда случалось, что Струков замечал эту разницу в точках зрения. Еще чаще замечала такую разницу Наташа, и, кроме того, замечала непоследовательность Алексея Васильевича, — то, что ему не удастся перекинуть мостик от Маркса к русской деревенской деятельности... Но, боже, как это было смешно и незначительно в сравнении с чувством, волновавшим их сердца, и как быстро проходило от одного пожатия руки, от восхищенного взгляда, от пламенного поцелуя где-нибудь в полумраке случайно опустевшего купе или в

закрытом кебе.

А вечером, перед ярким огнем камина, возникали нескончаемые споры с Петром Евсеичем. Сказать по правде, тот порядком-таки отравлял жизнерадостное настроение молодых людей. Это-то ничего, что в разговорах о любви он опять ссылался на «аристовщину», как на «самое разумное разрешение вопроса»: Струков уже знал теперь, каких мнений придерживается Наташа, и возражал старику без особой горячности. Но Перелыгин раздражал его своим скептицизмом и зловещими предсказаниями в области тех надежд, которыми они с Наташей теперь пламенели, и с этим-то Алексей Васильевич спорил до крика, до хрипоты в горле, до озлобления. Тем более что в словах Петра Евсеича грезилась ему какая-то страшная правда. Тот ни во что не верил в России: ни в народ, ни в командующие классы, ни в либеральные, ни в консервативные законы. На всякое возражение Струкова он приводил ошеломляющие факты, — и не из писаной истории, о которой утверждал, что это сплошная басня, а из истории неписаной, но всем известной, и из своих отношений с

народом и интеллигенцией, с высокими и малыми вершителями отечественных судеб. Фирма «Евсей Перелыгин и Сын», теперь ликвидированная, вела в свое время миллионные обороты и давала возможность Петру Евсеичу сталкиваться с разнообразными людьми не только по своим делам, но и в качестве представителя от целого промышленного района — от города, от хлебных торговцев, от владельцев баржей и пароходов. Кроме того, после смерти отца он с жадностью неопита сближался с «передовым обществом», — даже с пропагандистами семидесятых годов, бывшими на Волге, — и вот отовсюду извлекал унылые выводы. А Струкову больше всего было досадно то, что он чувствовал преувеличенные краски в наблюдениях Петра Евсеича, видел «психологический источник» такого преувеличения — и не мог доказать это, потому что сам-то знал русскую действительность только по книгам.

— Во что же вы верите наконец? — спрашивал он. Несмотря на то что в Кью-Гардене Петр Евсеич назвал его «Алексеем», они так и остались на «вы».

— Да как сказать... В силу здравых привычек, пожалуй, верю, — отвечал Петр Евсеич, но тут же прибавлял, что сила эта разливается так, что на расстоянии веков и не заметишь простым глазом: подвинулась она хоть на крупицу или нет.

— Но можно ли отрицать, что именно хорошие законы да хорошие люди, вооруженные их властью, и подвигали эту вашу силу. Да не на крупицу, а совершенно преображая страну.

— Отвод глаз, Алексей Васильич, не иначе, как отвод глаз. Это все на бумажке-с, не взаправду-с, не на самом деле. — И Петр Евсеич демонстративно вынимал платок, демонстративно сморкался в него и говорил: — Вот-с, с любезного вашего дозволения: обходимся с помощью платка-с, не в пальцы, как мой тятенька-покойник, и это взаправду-с, это очень прочная реформа... Ги! ги! ги! Потому что установлено, здравая сила утвердила, в привычку вошло-с. И что ты там в законах ни пиши, я обходиться без платка не согласен-с.

— А я скажу, как у Фонвизина: кто же был первый портной? С кого брать привычки и

как их внушать?

— Именно таким манером и внушать, как вы испугались в Кью-Гардене... Ги! ги! ги! Надо по рассудку поступать-с, ни на что не взирая-с. Вот и будете первый портной. Окольные же пути, как их ни называть, все — лганье, всякий компромисс — лганье... отвод глаз. С какой стати-с?

— Удивительно что вы говорите! Не компромиссами ли и раскрывается исторический процесс? Не карается ли человечество огромными бедствиями, если оно сходит с пути компромиссов? Наконец о законах... Освобождение крестьян, судебные уставы шестьдесят четвертого года, земство, — это все отвод глаз? Лганье, по-вашему?

Но тут Перелыгин заливался почти до истерики.

— Ничего нету-с, — кричал он, — ярлычки переменили, назвали по-другому, а то ничего нет-с, все по-прежнему-с! Поживите в деревне, сами увидите. Умный человек написал: нельзя освободить людей свыше того, чем они освобождены внутри... Александр Иванович Герцен написал-с! Не спорю, хорошего

много обдумали... и люди были хорошие... а на самом деле только лишь и осталось, что ярлыки. Крепостные по-прежнему — беднее разве сделались; суд — по-прежнему, легче только сутяжничать; земство, — ну, сами увидите, в чьих оно руках... Да еще подождите, не за горами дело-с, почитайте-ка, что в ма-тушке Разсее черным по белому печатают... (Петр Евсеич, когда сердился на отечество, произносил не «Россия», а «Разсея».) Будут вам ужо реформы!

— Что же, вам остается, значит, радоваться, — ядовито замечал Струков, — а мы с Наташей не правы, и нечего нам делать в Рос-сии. Говорите же, нечего нам делать в Рос-сии?

Но на это Петр Евсеич уклончиво разводил руками и отвечал обычной своей поговоркой:

— Окончательно выше моего понимания!

Тогда вступилась Наташа.

— Ну, ты, Петр Евсеич, совсем зазнался, — с неудовольствием говорила она. — То у тебя мерзко, это непрочно, черный народ — дика-ри, чистый — хамы, интеллигенция — теп-личный выводок... Слыхали мы!.. А когда ве-

ришь? А когда любишь? Когда здесь, здесь и то вспомнишь нашу Волгу, наши поля, наших милых простецов, так и загорится душа по ним... Отчего это? И что ты твердишь: земство — вздор, мировой суд — вздор, освобождения не бывало: — дедушка Евсей такой же миллионер был, а губернатор ногами на него топал, за бороду его хватал... Кто на тебя осмеливался топать?

— Меня хранил еще господь, а в Москве в части присяжного поверенного выдрали... Ги! ги! ги!

— Это уголовщина, — воскликнул Струков, — и о ней печатают в газетах. Наташа вам говорит о нормальных приемах власти, а не об уголовных преступлениях. Так нельзя затемнять вопрос.

Петр Евсеич внимательно посмотрел на них и покачал головою.

— Ну, быть так, — сказал он, — Кое-что смягчилось... Что же из того? Сила здоровых привычек свое взяла.

— А коли взяла, надо ее развивать дальше, — горячо утверждала Наташа. — И всеми способами, а не по-твоему, в одну точку. По-

смотри, что здесь делается... Вот люди-то не спят.

— Что здесь? Пристальной поглядеть, и здесь одна меледа, — говорил Петр Евсеич. — «Ловля у львов — дикие ослы в пустыне, так пастбища богатых — бедные», — сказано у Си-раха... Это и у нас, и здесь в одинаковом положении. Суета-с.

— Ну, и я спрошу, как Алеша: чем же ты живешь?

— Да, да, чем вы живете? — повторил Струков, вскакивая со стула.

— Любопытством, — спокойно отвечал Петр Евсеич. — Да и вы, дозвоьте вам сказать, тем же-с.

Но тут спор переходил совсем в отвлеченности, подымался такой шум, и сюжет столь быстро запутывался, что Наташа отчаянно махала руками и просила перестать. И, обыкновенно, Струков смолкал первый, Петр Евсеич учтиво улыбался и напоминал дочери слова приснопамятного протопопа: «А что противятся друг другу — пускай так! Грызитесь гораздо, токмо праведне и чистою совестью разыскивайте истину». И все смеялись от

этих старых слов; за всем тем, возвращаясь к себе на Россель-стрит, Струков уносил нехороший осадок на душе, и только завтрашний день исцелял его своими скитаниями, разговорами вдвоем, мечтами вслух, сладкими поцелуями где-нибудь в закрытом кебе или в случайно опустевшем купе.

Вот эти поцелуи... Ужасно смущал Петр Евсеич молодых людей тем, что иногда возвращался к своему кью-гарденскому провозглашению, и недоумевал, отчего Струков не переберется из Россель-стрита в их отель. Алексею Васильевичу чудился в этом какой-то старческий цинизм; Наташе просто не нравилось, когда говорят о таких вещах, хотя она и знала, что это вовсе не цинизм, а действительное убеждение Петра Евсеича. В сущности, и Наташа и Струков ошибались. Петр Евсеич действительно был убежден в ненужности обряда и с несколько смешной нетерпеливостью хотел доказать на деле, как он смел и свободен в своих взглядах; но в глубине-то души он и по другим причинам не желал бесповоротных обязательств. В какую-нибудь особенную «любовь» он не верил; к Наташе был

страстно привязан. К Струкову относился втайне почти презрительно, — и за то, что тот «барчонок», и «робок в мыслях», и равнодушен к богословским вопросам, и «ничего не понимает в России»... И вот Петр Евсеич думал про себя, что дело тут не в любви, а в молодой страсти, что когда утолится страсть — пройдет и то, что называют любовью, и Наташа останется при нем.

Отчасти Петр Евсеич был прав: беспощадная власть молодости, крови, физических влечений все сильнее захватывала Наташу и ее названного мужа, может быть, еще оттого, что они, смущенные смелостью Петра Евсеича, таились с этим не только от него, но и друг от друга. Впрочем, Наташа совершенно не понимала, что с нею делается. То, что она знала о брачных отношениях, — а знала она довольно, — совсем не имело значения в странном состоянии ее духа. То было ясно, как в анатомическом атласе... и грубо, как все, что превращает человека в орудие пользы, в какую-то производительную машину, в животное. Но то, что она испытывала теперь, было совсем не ясно и очаровывало ее чем-то

непостижимым. С каждым днем она находила все большее наслаждение в присутствии Струкова, в том, чтобы не отрываясь смотреть на него, слушать его голос, загораться восторгом от прикосновения его руки к своей, от его поцелуев и признаний. Она долго не спала по ночам, во сне волновалась грезами, просыпаясь мечтала... О чем?.. И сама не могла бы ответить, но в этих грезах и мечтах не было ни одной черточки из грубых теорий Петра Евсевича, ни одного чувственного образа. Все ее существо сосредоточилось в каком-то стремлении; в душе звучала упоительная музыка... без слов, без определенных представлений, — и с каждым днем мысли складывались труднее и труднее, уступая волнам беспричинной радости, беспричинной тревоги, растворяясь в мечтах... иногда даже в слезах. Но она не чувствовала себя глупее, как это говорят про влюбленных; она только понимала не одним умом, как прежде, а чем-то другим, и понимала несколько иначе, чем прежде. Лучше даже сказать — угадывала, как угадывала, о чем думает Струков, что он хочет сказать, в каком находится настроении. Это было похоже на

ясновидение. И как в Струкове нечто из его душевного мира было ей совсем недоступно, так не замечала она и той зловещей стороны жизни, о которой пророчествовал Петр Евсевич. Жизнь ей представлялась в каком-то особом освещении, без темных подробностей, без осложненной сумятицы вещей и обстоятельств; в грядущем разверзались перед нею бесконечные дали... И все в этой бесконечности играло теми же радостными и тревожными цветами, как и в ее глубоко взволнованной душе. Что ей было за дело, что Россия не Англия и что их с Струковым планы фантастичны. Зато ничуть не фантастичны силы, с каждым днем выраставшие в ее душе, не фантастично чувство беспредельной любви к «Алеше», и, в его лице, к России, к человечеству, ко всякому дыханию, что хвалит господа на этой прекрасной земле, — чувство, напряженное до восторга, до упоения, до какой-то сладостной боли.

И вот в соответствии с таким настроением Наташи исчезли капризные очертания в ее характере; она сделалась нежна, послушна, ласкова и все ярче расцветала той поразитель-

тельной красотой, что светит изнутри от воспламененного любовью сердца.

И по временам ей ужасно хотелось забыть свои «трезвые» взгляды, отдаться во власть чрезвычайных влияний, перейти в то далекое детство, когда жилось точно во сне и действительность неразрывно сплеталась с чудесами. Но об этом она ни слова никому не говорила, это был ее самый строгий секрет... Раз она проснулась очень рано, долго лежала с полужакрытыми глазами, вздыхая и заламывая руки, и вдруг вспомнила, что сегодня воскресенье, а завтра решено уезжать из Лондона. Почти не отдавая себе отчета, что делает, она быстро и беззвучно оделась, взяла завтрак и, сказав внизу, что скоро вернется, пошла к Вестминстерскому аббатству. Легкий туман висел над городом, местами сквозь него янтарным пятном просачивалось солнце... Улицы были пустынные. Наташа остановилась против аббатства, взглянула ввысь — стрельчатые башни точно таяли в загадочной дымке — и с трепетом вошла под аркады «северных дверей». Служба еще не начиналась, хотя церковь была уже полна народом. Стоя-

ла глубокая тишина. В разрисованные окна мерцал какой-то нездешний свет; в этом странном мерцании задумчиво обозначались белые статуи, тускло блистала позолота резбы королевских гробниц и катафалков, удивительной часовни Генриха Седьмого... В вышине огромных сводов клубился непроницаемый сумрак. Наташа протеснилась к любимому своему памятнику, — к мраморной группе Рубильяка, полной такого движения, ужаса, злорадства и такой самоотверженной любви; внимательно, в десятый раз, всмотрелась в лицо старого Найтингала, отражающего копье смерти от своей молодой жены... и, сдерживая подступающие слезы, опустилась на колени. Это был совсем не тот Найтингаль, что прежде, и не та была смерть, не та умирающая женщина, — и церковь с бесчисленной толпою своих изваяний совсем не походила на «достопримечательность», отмеченную двумя звездочками у Бедекера. Все теперь приобрело особый смысл в глазах Наташи, преобразилось из вещественного в мистическое, в какую-то тайну.

Кто-то заговорил слабым, теряющимся в

пространстве голосом; кто-то ответил торжественным баском... В храме пронесся шорох и шепот, и вдруг с вышины раздался гул, всюду заколебались волны звуков... Гремел орган; в сложную гармонию сливались голоса многочисленного хора, в цветных лучах в каком-то новом значении оживали мраморные короли, рыцари, поэты, — великие люди Англии... Тайна задумчивой тишины и пластических очертаний превращалась в тайну звуков, в движение, во что-то такое, отчего холодело сердце Наташи и высоко подымалась ее грудь. Как назвать это впечатление? К какому разряду «гипноза» его причислить? Она об этом не думала; да и ни о чем не думала, а подетски всхлипывая от душивших ее сладких слез, крестилась двухперстным, раскольничьим крестом и шептала полузабытые молитвы.

Дома ее встретили расспросами; краснея и волнуясь, она ответила, что гуляла, потому что разболелась голова, и не только в этот раз, но и никогда, никому не рассказала о своем посещении Вестминстерского аббатства накануне отъезда из Лондона. И не оттого,

что стыдилась, а по какому-то другому чувству.

Алексей Васильевич был из тех не первой молодости людей, о которых принято говорить, что они высокой нравственности. Случилось так, что в гимназии он уберется от патологических примеров, что женская прислуга в доме его тетушки состояла из двух богобоязненных старушек и что вместо нынешней заразы фривольного чтения, щегольства, внешнего благонравия и детских балов он воспитывался в ту эпоху, когда с юных лет заражались великодушными мечтами, презирали «эстетику», увлекались не романами и не расслабленной лирикой наших дней, а прямолинейной литературой шестидесятых годов и коренным переустройством обветшавшего мира. На втором курсе он, сам того не замечая, сошелся с предприимчивой горничной из меблированных комнат, пытался было просветить ее и даже искупить свое увлечение женитьбой, но скоро самым предательским образом был покинут, и, что всего обиднее, ему предпочли франтоватого шпиона, специально надзиравшего за студенческим

населением меблированных комнат. Потом Алексей Васильевич поддавался от времени до времени той распространенной мысли, что «воздержание — нездорово», и делал, как все, — и, как все почти молодые люди того времени, с чувством отвращения вспоминал об этом, терпеть не мог игривых намеков, разговоров и анекдотов; даже не выносил серьезных рассуждений на эту тему. Одним словом, был действительно чистый и целомудренный человек и в своих глазах, и в глазах всех его знавших. Тем не менее как ни возвышенно он полюбил теперь, для него было невозможно думать о своей любви с девической неопределенностью. В противоположность Наташе, он отчетливо сознавал, что опьяняет его и огнем разливается по его жилам... Правда, он возмущался предложением Петра Евсевича «переехать из Россель-стрита»; считал кощунством воображать о Наташе как о существе иного пола; стал бы презирать себя, если бы намеренно домогался супружеских отношений с этой прелестной девушкой, но вместе с тем всеми силами души желал ее, и без всяких низких расчетов, с очень благоговей-

ными словами на устах, но с внутренним упорством одержимого в ней самой стремился пробудить определенное желание.

Перелыгины приехали в Англию через Кале и Дувр, но теперь Наташе очень хотелось увидеть «настоящее» море, и они выбрали более длинный путь, на Ньюгевен и Диепп. Поезд примчал их в английский порт к одиннадцати часам ночи. В дороге Наташа была очень грустна и рассеянна; по временам у нее даже навертывались слезы... А Петр Евсеич беспрестанно открывал окно, осведомляясь, есть ли ветер. Ветер был, но это могло происходить и от неимоверной быстроты экспресса, как утешал Петра Евсеича Струков. Однако в Ньюгевене окончательно выяснилось, что это не от экспресса: Ла-Манш шумел, и, стоя на пристани, нужно было придерживать шляпу. По небу торопливо бежали косматые тучи; из-за них мгновениями светила луна, разливая неверный, дрожащий свет. Петр Евсеич совершенно растерялся и бормотал, что нужно «переждать», что в жизнь свою он не испытывал такой мерзости, как между Кале и Дувром, и не хочет повторения. Наташа ждать не хотела, да, по убеждению Струкова,

это было бы и бессмысленно, но, в свою очередь, впала в угнетенное состояние духа и едва ли не плакала от досады. Она больше всего боялась, что не увидит «океана», не будет в состоянии последний раз взглянуть на берега Англии, где под туманами и дождем светило для нее ласковое солнце первой любви и возвышенных мечтаний. Между тем в колеблющемся полусумраке пароход быстро наполнялся народом. Нельзя было дозваться носильщика в этой суете, да и никто, казалось, не нуждался в этом, кроме Петра Евсеича, беспомощно стоявшего перед кучей щегольских своих саков, купленных в Лондоне и набитых разными изящными пустяками лондонского же производства.

— Окончательно выше понимания, какой дурацкий порядок! — сердито твердил он и однажды сказал даже, что в России гораздо насчет этого превосходнее, причем едва ли не в первый раз выговорил «Россия», а не «Разсея». Струков невольно подумал про себя, что вот и внук саратовского мужика, а как усвоил барские привычки, и, презрительно усмехнувшись, проворно стал забирать доволь-

но-таки тяжелые вещи. Петр Евсеич рассыпался в учтивых извинениях и, угловато сторбившись и неловко семеня ногами, в свою очередь, подхватил какой-то тюк. А как только вошел на пароход, тотчас же затосковал и, с великим трудом пробравшись с помощью кроны в переполненную каюту, с видом мученика лег на диван.

Алексей Васильевич не боялся качки. Морской воздух и этот резкий ветер, насыщенный солью и запахом водорослей, как-то особенно приподымали его настроение... Но и он был не в духе. Он решительно не понимал, отчего Наташа с такою грустью уезжала из Лондона, отчего всю дорогу не обращала внимания на его влюбленные взгляды, на ласковые слова, произносимые украдкой, на пожатие руки, отчего ее лицо сделалось таким холодным и неприятно озабоченным, как только они очутились на пристани... То есть он знал отчего, но оскорблялся, что его присутствие не делает ее равнодушной к разлуке с Лондоном, к ожиданиям морской болезни, к тому, что пришлось суетиться с вещами и проталкиваться на пароходе с помощью локтей. В

сущности, как и везде в последнее время, но на этот раз с особенной раздражительностью Струков ревновал Наташу к тем мыслям и ощущениям, о которых она не считала нужным говорить ему.

Сложив в кучу вещи, они уселись около них на скамье, прислоненной к борту. Это было наверху, на палубе первого класса, и так как там было ветрено, а порою через борт взлетали брызги, то вся публика ушла в каюты и туда, где было затишье и тепло от трубы. Наташа молчала с полузакрытыми глазами, точно прислушиваясь внутри себя; Алексей Васильевич ожесточенно курил... Снизу был слышен говор почти на всех европейских языках; ветер хлопал растянутой парусиной, отделявшей палубу первого класса; где-то стучало, откуда-то раздавались командные крики... Пароход вышел на взморье.

— Миленький мой, — вдруг радостным голосом воскликнула Наташа, — знаешь ли, я совсем, совсем не чувствую качки!

— Да ее и не будет, — сухо сказал Струков.

— Но как же, такая буря?

— Ничего не значит: пароход перерезает

волны. И потом, разве это буря? Просто — свежий ветер.

— Да, свежий... Ой, как нас трепало тогда, а ветер был меньше. Совсем, совсем не чувствую!.. Ах как хорошо! Дай мне руку. Ты сердисься, глупый? Пойдем к корме. Держи меня крепче... Дружочек мой, смотри на эти берега... Милая, милая Англия, никогда тебя не забуду! А ты, Алеша?

— Ты простудишься, Наташа. Вот сорвало твою шляпу... Хочешь, достану макинтош? Надень, пожалуйста.

— О, какой ты злой! Ну, давай скорее... И капюшон на голову?.. На кого я теперь похожа!.. Но если б ты знал, как мне было больно расставаться с Лондоном.

— А помнишь, ты все бранила его и хвалила Париж?

— Разве? Это, должно быть, чтобы рассердить тебя... Боже мой, как мне жалко, что мы уехали! Друг мой, не воротится это, не повторится. Может быть, лучше будет, — не хмурься, — но никогда, никогда не повторится... Ну, все равно. Вон берега... видишь? И луна, и тучи, и волны шумят... О, дорогой мой, как я те-

перь счастлива. Ведь это настоящий океан? Смотри вот в этом направлении — ведь тут все море и море до самой Америки?

— Я думаю, в этом направлении остров Уайт, не больше.

— Ну, все равно, Уайт так Уайт, — ты это мне назло... желанный мой! А в какую сторону Джерсей? Помнишь *Les travailleurs de la mer*?[4] О, если тебе открыться по совести, я была влюблена в Жильята... Но расскажи, отчего ты такой нехороший, — правда, сердись за что-нибудь? Правда? — И она приближала к нему лицо свое, вкрадчиво заглядывала в его глаза, проводила рукою по его щеке.

Дурное настроение Алексея Васильевича не сразу изменилось. В его уме мелькнула даже грубая, во вкусе Петра Евсеича, мысль, что это у Наташи влияние морского воздуха, простора, неожиданных впечатлений и — главное — оттого, что нет качки... Но во всем ее существо было столько очаровательной силы, ее голос звучал такой нежностью, а лицо, обрамленное капюшоном, так прелестно выделялось в капризной игре лунного света, засло-

няемого бегущими облаками, что он, если бы и хотел, не мог оставаться в дурном настроении. Он страстно обнял Наташу, стал целовать эти милые полураскрытые губы, на которых чувствовался осадок соли, это свежее, обвеянное ароматом морских испарений лицо... Тесно прижавшись друг к другу, они ходили вокруг темных, завешанных изнутри кают, прислушивались к разноязычному говору внизу, к завыванию ветра в снастях, к ритмическому стуку винта, к грозной музыке Ла-Манша. Берега давно скрылись. По временам падали тяжелые капли дождя... В странно мерцающем пространстве без конца клубились волны, мчались тучи. Порою виднелись звезды, маячил одинокий парус, отчетливо выступая в лунном свете, пена вспыхивала серебром, даль развевалась широко... И снова падал сумрак, и все смешивалось в неразличимых очертаниях, в торопливом движении каких-то теней, проблесков, белых пятен, в чем-то таинственном, не похожем на действительность. И жутко было смотреть на огни, иногда мелькавшие в этом неопределенном пространстве, думать о том, что в бур-

ном море плывут теперь корабли... может быть, далеко, далеко...

— Не правда ли, мы как в сказке? — прошептала Наташа и вдруг вскрикнула... и рассмеялась. Две фигуры шли навстречу. Черные крылья развевались у них за плечами; в колеблющейся полосе света за ними, колеблясь, следовали тени, похожие на каких-то огромных птиц.

— Как в сказке, моя дорогая, — нетвердым голосом повторил Струков и не сразу подал билеты, так же как не сразу человек в форменной фуражке взял их, взглянув на освещенную фонарем Наташу. Этот человек, по-видимому, хотел сказать какую-то любезность, даже выставил свои крепкие зубы и ослабил красное изрытое морскими ветрами лицо, но ограничился лишь тем, что на сквернейшем французском языке назвал погоду не вполне приятной для дам, приложил руку к козырьку и, кивнув своему товарищу, проследовал дальше, — тени побежали вперед, резиновые плащи, гремя, развевались точно крылья... и снова стало как в сказке, сделалось не похоже на действительность.

Свежело. Ветер, казалось, хотел превратиться в бурю; откуда-то раздался звон разбитой посуды; пароход тяжело вздыхал своими трубами и содрогался до основания; воздух со стороны востока становился белесоватым. Луна совсем исчезла... за всем тем бушующее море виднелось шире и яснее.

Мелкий, точно лихорадочный озноб начинался у Наташи, — оттого ли, что похолоднело, или от странных ощущений этой фантастической ночи. Голова ее слегка кружилась, но не от качки, хотя теперь волнение было достаточно, чтобы заболеть. Струков усадил ее под защиту шумящего полотна, окутал пледом, согревал горячим дыханием ее руки, шею, лицо, прижимал ее к себе с такою силой, что она вскрикивала, и вдруг сказала, что ей жарко, и порывисто откинув плед, прильнула устами к его устам, с непрерывающим, неслышным смехом отдавалась его ласкам, с выражением какой-то блаженной радости ловила его страстные, без слов умоляющие взгляды и, замирая от наслаждения, от ужаса, от любопытства, подчинялась его воле...

В темных тучах стало просвечивать опалом, янтарем, багрянцем. Волны синели, паруса обозначались вдали... Призраком выступил французский берег.

Струков протянул руку к востоку, и, опьяненный до экстаза, красивый как никогда в этом пурпуровом освещении, воскликнул растроганным голосом:

*Смотри, как заря там алеет!..
Как эта заря, мое сердце
Любовью к тебе пламенеет...*

Но Наташа едва улыбнулась, едва взглянула на него, прошептала: «Ах, если б ты знал, как я измучилась!» — и, опустив отяжелевшие ресницы, на которых застыли крупные слезы, в изнеможении склонила голову на его плечо и задремала. Он бережно поддерживал эту драгоценную ношу; с умилением любовался побледневшим личиком; с особым чувством снисходительности примечал на нем следы какого-то недоумения, какой-то невысказанной грусти. «Это скоро пройдет!» — думалось ему, — и вздрагивал от радости, когда в молодом, упругом, красивом теле, лежа-

шем на его руках, внезапно пробежал трепет, — точно последние искры от миновавшего пожара, — а вместо тоскливого выражения на лице вспыхивала и погасала очаровательная улыбка.

Тем временем в небесах разгорался иной пожар. Солнце раскалило и разогнало тучи и вставало над морем в блеске, в золоте, «в славе», как выразился про себя Алексей Васильевич... И в лад с этим торжествующим блеском, с радостной игрою солнечных лучей в синем морском пространстве складывались мечты Струкова, слагались его мысли о жизни, о счастье, о будущей деятельности в России. Ему не только не хотелось спать, как Наташе, но хотелось бы петь во весь голос, и непременно что-нибудь победное, какой-нибудь «гимн к радости» Шиллера, чтобы оповестить далеко, далеко о полноте своего существования, о том, что мир прекрасен...

В Париже произошло по желанию Петра Евсеича: молодые люди стали жить вместе без венчания. Старику очень хотелось собрать знакомых русских и заявить о таком порядке брака торжественно; он даже напи-

сал «чернячок» застольной речи, не без тайного умысла напечатать ее впоследствии во французских газетах; но Наташа возразила, что все равно в России придется «надевать венцы», и, значит, нечего вводить людей в заблуждение. По ее мнению, было достаточно, что они живут вместе, а как об этом станут судить их знакомые, это совсем не важно. Струков же мало того, что восстал против «смешной демонстрации», но даже смалодушничал без всякой нужды, сказавши своему парижскому приятелю, что «за границей венчание обходится дорого». Вышло так, будто эту дороговизну он уже испытал, хотя, с другой стороны можно было понять и иначе эти вскользь брошенные слова... Долго он не мог простить себе такой уловки, и как ни странно, почти возненавидел за нее своего невинного приятеля.

Впрочем, возненавидел отчасти и за другое. Приятель, — звали его Левушка Верховцев, точно бес семенил перед Наташей и внушал ей совершенно неподходящие, по мнению Струкова, интересы. Этот Левушка, кстати, и наружностью похожий на беса: огнен-

но-рыжий, хромой, проворный, был сын богатого помещика из одной с Струковым губернии, кончил когда-то в правоведении, занимался когда-то «революцией», — злые языки утверждали, что состоял при ней на побегушках, — и знал многих с шумом погибших людей. В Париже он жил не то в качестве эмигранта, не то туриста с просроченным паспортом и пробивался бог знает как, потому что отец его, действительный статский советник и знаменитый губернский сутяга, из боязни прослыть красным в глазах начальства, не присылал ему ни копейки. Левушка очень хотел и очень боялся возвратиться в Россию, а пока говорил, говорил... то готовясь к самым решительным предприятиям и развивая весьма решительные идеи, то о погибших людях и их громких делах, и изучал революционную историю города Парижа — для чего, и сам бы не мог ответить, но изучал прилежно, с благоговением первокурсника. Это он, случайно познакомившись с Перелыгиным, дал им письмо в Лондон, теперь же чуть не ежедневно бегал к ним из Латинского квартала на avenue Victor Hugo и скоро стал у них по-

чти своим человеком. Кстати, у Петра Евсеича нашлась для него и работа: исправление слога в переводе Courdaveaux... Но главным его занятием были разговоры с Наташей. Предметы этих разговоров всегда были одни и те же: во-первых, трагические «друзья» Левушки, во-вторых, собственные Левушкины идеи об «отмщении» и «радикальном перевороте», в-третьих, революционный Париж. Наташа говорила мало, но слушала с большим любопытством. Она в первый еще раз встретила человека, столь близко стоявшего к тем людям и событиям, да и французской историей с восемьдесят девятого года очень интересовалась... И все это было до крайности неприятно Алексею Васильевичу. Что говорить, когда-то он и сам, как все русские «барские дети», был воспитан на том, что называл теперь «героической легендой восемнадцатого века», и история Франции была ему роднее и знакомее, нежели унылые двадцать девять томов профессора Соловьева. Но в Лондоне, за Марксом, за Энгельсом, за пристальным изучением экономических сил, законов и комбинаций, он совершенно охладел к живопис-

ным героям и переворотам, русским или французским — все равно, и то, что говорил Левушка, представлялось ему детской болтовнёю, а то, что Наташа с увлечением слушала эту болтовню, повергало его в необыкновенную досаду.

Да и вся их жизнь в Париже раздражала Алексея Васильевича. Все складывалось совсем не так, как в Лондоне, начиная с погоды. Днем в безоблачном небе неумоимо сияло солнце, ночью огни заливали веселый город; в удивительно мягком и теплом воздухе, казалось, веяло заразительным дыханием беспечальной жизни, вечной весны. В противоположность Лондону, «у очага» было скучно; улица тянула к себе; ее впечатления и соблазны, радостный гул, стоявший над нею, опьяняли как вино. Кто-то и здесь работал, да еще как! Кто-то и здесь скрежетал зубами, проклиная торжествующий порядок и воюя с ним; где-то и здесь таилась нищета не хуже Уайт-чапеля; но для туриста, не задававшегося специальными целями, все было «шито и крыто», и торговля, труд, искусство, промышленность, политика, даже веселый и откровен-

ный разврат, даже морг со своею выставкою превосходно замороженных трупов представлялись ему каким-то спектаклем en gala. И на каждом шагу восхищал такого туриста другой, каменный, исторический спектакль. церкви, дворцы, монументы. Как в Лондоне нет ничего безвкуснее площадей и памятников, а из старины несравнимы лишь парламент да аббатство, так в Париже всюду возможно встретить изумительную красоту изваяний, архитектурные грезы с их кружевом из потемневшего, похожего на серый бархат, камня, с их наивными символами и барельефами, с утраченным секретом чего-то таинственного и музыкального. Правда, памятники на площадях и в Париже не всегда красивы или стоят неизвестно зачем, как обелиск на Place de la Concorde, но, опять-таки, в противоположность Лондону, турист не мог не знать их трагической истории, помнил о потоках крови, прикипевшей к их подножию, и эти воспоминания придавали в его глазах особый вид даже Июльской колонне, — вид какой-то зловещей, символической красоты... А вечером на Больших бульварах соверша-

лось что-то сказочное. В зареве газовых рожков и электрического света фантастически обрисовывались деревья. По широким тротуарам тихо двигалась нарядная толпа, собранная со всего света. Газетчики, цветочницы, продавцы курьезов и ненужностей шныряли в ней, как рыба в воде, звонко, на разные голоса навязывали свой товар. По улице стремительно неслась река омнибусов и фиакров. Открытые настежь ослепительные кафе не вмещали посетителей и захватывали тротуары своими мраморными столиками. В театры и казино, огненные вывески которых сверкали точно бриллианты, ломились зрители. За стеклом неправдоподобно огромных витрин в художественном сочетании располагались соблазны — для всевозможных средств, вкусов и вожделений... Нет, нет, в Лондоне этого не может быть, не было, и Алексей Васильевич называл это возмутительным гипнозом и проклинал тот день, в который они приехали и поселились в Париже.

Что до того, что теперь он жил в одной квартире с Наташей, спал с нею в одной ком-

нате? Но в то время, когда он весь был охвачен экстазом любви, когда все в нем радостно трепетало не только при взгляде на жену, но от одного звука ее голоса, ее смеха, от шороха ее платья в соседней комнате, — она неизменно стремилась куда-то, если не в действительности, так в мыслях. И Струкову казалось, что в этом виноват Париж.

И в самом деле, даже Петр Евсеич изменился здесь. Обыкновенно скромный в своих привычках, он теперь находил какое-то детское удовольствие сорить деньгами, целыми днями пропадал на бульварах, глазел на витрины, покупал разные вещички или долго-долго просиживал за бутылкой шампанского в каком-нибудь шикарном кафе, упиваясь не столько вином, сколько видом и шумом улицы.

— Уж очень приятно мотать здесь, — говаривал он, точно оправдываясь. — В отечестве-то, ведь, — ау! — и за свои деньги, исключая очертенелой скуки, ничего не получишь. А тут, поди-кось, шельмецы, чего достигли: смотришь, только смотришь на них, и то селезенка играет... Ги, ги, ги! — И добавлял с

некоторой грустью: — Ох, надо ехать домой, а небольшая, признаться, охота. Чай, на насесть едем садиться, ась? Сдается мне, в последний раз вижу я этот необузданный Вавилон.

По его настоянию обедали в лучших ресторанах, у дверей отеля с утра появлялась «ремиза», запряженная парой в дышле, Наташа закупала себе приданое.

— Что ты раскутился, Петр Евсеич? Я тебя не узнаю, — говорила она иногда.

— Нет, ничего, Наташечка. Старость приходит, развернуться хочется... Небось ведь ты у меня одна. — С тех пор, как она стала жить с Струковым, Петр Евсеич иначе не называл ее, как «Наташечка», и вообще относился к ней гораздо нежнее и точно с жалостью.

Наташу нимало не привлекали магазины и покупки. В этом она только подчинялась отцу да видела способ доставить удовольствие двум-трем знакомым дамам, которые, несмотря на всю серьезность их убеждений, положительно пьянели в каком-нибудь Лувре или Au bon marché[5]. Но то же самое, что эти дамы в магазинах, чувствовала она в стремительном

круговороте публичной жизни; скоро сделалось не только ее привычкою, но почти потребностью каждый день находиться в несравненной парижской толпе, схватывать на лету остроты, шутки, словечки, новости, покупать и прочитывать где-нибудь по дороге свежий номер газеты, проникать на заседание палаты или на сходку рабочих, вечером ехать в театр, слушать в казино уличную знаменитость, смотреть на студенческий разгул в каком-нибудь кафе «Гар-кур», или просто сидеть на бульварах и медленно цедить «гре-надин» сквозь соломинку. Обыкновенно в этих странствиях, — иногда довольно рискованных, если бы ее не охраняло звание «иностранки», — сопровождал ее Левушка и редко Струков или Петр Евсеич. И обыкновенно она сама хотела, чтобы Левушка, потому что он отлично знал город, был неутомим, говорил как скворец и иногда говорил то, что ее очень интересовало, а Петр Евсеич быстро уставал и в это время начинал брюзжать и жаловаться; что же касается до мужа, то, — увы! — его присутствие ей самой причиняло чувство усталости. Она уставала теперь от его влюб-

ленных взглядов, от страстных слов, которые он нашептывал ей при всяком случае, от его прикосновения, когда они шли под руку, и даже от его разговоров о будущем, о России, о преимуществах «закономерной» работы перед тем, о чем болтал Левушка... Все это было очень хорошо, и умом своим Наташа понимала, что она счастлива, то есть что муж очень любит ее, что он умный, и честный; и образованный, и что их будущее — очень хорошее, и оба они согласны, как его устроить, и что Левушка действительно несколько болтлив и легкомыслен; но вместе с тем она или рассеянно усмехалась в ответ на ласки Алексея Васильевича, или машинально произносила: «О, миленький мой!» — а сама чувствовала, что деревенеет с ног до головы, что от сдерживаемой зевоты у нее ломит за ушами.

Впрочем, по временам что-то вроде угрызения совести возникало у Наташи, особенно после того, как ей приходилось хитрить и украдкой убегать с Верховцевым на улицу. Тогда она бесцеремонно спроваживала Левушку к отцу или усаживала его за письменный стол, где горою возвышались листы, ис-

писанные угловатым почерком Петра Евсеича — перевод Courdaveaux, — а сама предлагала мужу ехать с нею куда-нибудь за город.

Но лондонские настроения и в этих случаях не возвращались... Правда, по внешности было похоже. Как и в Лондоне, они чувствовали себя точно на острове и всюду была ключом чуждая, пестро бегущая жизнь; как и где-нибудь в Кью-Гардене, они бродили одни в версальских парках, в Сен-Клу, в Венсене. Но то, что между ними не было теперь преграды и что их любовь всегда могла перейти от страстных полупризнаний и взглядов к супружеским ласкам и что Алексей Васильевич желал этого, зажигая и ее своим желанием, — это приводило Наташу почти в истерическое состояние, да и Струкову вместе с мимолетным наслаждением давало впечатление какой-то душевной неудовлетворенности. И оба возвращались домой унылые, утомленные, с тяжестью в сердце, с чем-то невысказанным на душе.

И еще было хуже, когда пробовали высказаться. С первых же слов оба замечали тогда, что, в сущности, говорить нечего, — что все

обстоит благополучно, как следует в «медовом месяце», отчего не так, как в Лондоне, — это для обоих было необъяснимо. И вот выходило так, что у обоих невольно поднимался и вздрагивал голос, и оба раздражались до слез, упрекая друг друга в совершенно фантастических вещах, — одним словом, происходили нехорошие размолвки. Так однажды Струков, не помня себя от досады, сказал жене, что отлично видит, как пошли ей впрок теории Петра Евсеича о свободной любви, и что, конечно, эти теории заставляют ее искать общества «г. Верховцева», а вовсе не его «революционное вранье».

— Слушай, Алексей... и это раз навсегда, — с побледневшим лицом ответила Наташа, — если я полюблю другого или просто захочу отдаться... ну, хоть Левушке, — я скажу. Тебе первому скажу. Можешь быть спокоен.

— Просто захочу! — с негодованием подхватил Струков. — Как ты не понимаешь, что говоришь мерзости...

— Нет, это ты видишь мерзости, где их нету...

— Отдаться! Отдаться! — кричал уже Алек-

сей Васильевич. — Слово-то одно как звучит в устах порядочной женщины!..

— Как же? — с кривой усмешкою спрашивала Наташа. — И как оно звучит в устах порядочного мужчины? Или у вас ничего? Так надо? Или в вашем лексиконе нет «отдаться», а есть — «обладать», «владеть»? И сколькими ты намерен владеть?

— Хороший разговор!

— Так не трогай меня, если не нравится.

— То, в чем ты упрекаешь, — скверно, но это физиология. А когда муж от жены или наоборот — это распутство.

— Слова, миленький... «скверно» — семь букв, «распутство» — не знаю сколько. И тебе нечем доказать, что это не простые слова. Так же, как и мне. Но зато я и не упрекаю, с чего ты взял? Я только ненавижу насилие и ваши претензии над нами. Что такое жена? Любви-ница? Это вы, все вы назвали. Я — человек, и моя воля надо мною, а не твоя... как ты там ни называй меня. Правды можешь требовать, и, будь спокоен, никогда, никогда не солгу. Но и только, Алексей Васильевич, и только.

Спустя час или два после таких препира-

тельств и она и он отлично сознавали, что много было сказано лишнего и ничего не сказано такого, что бы объяснило и рассеяло тяжесть, лежавшую на душе; но так ли, иначе, яд преувеличенных слов оставался, и по-прежнему оставалась тяжесть на душе. И Алексей Васильевич жестоко негодовал внутри себя, злился — больше всего опять-таки на Париж, — и страстно желал поскорее уехать, а Наташа день ото дня становилась молчаливее и бледнее, и лицо ее становилось загадочным для Струкова.

Впрочем, так она была еще красивее, и в промежутках между разговорами, а иногда даже и в то самое время, когда выговаривались обидные слова, эта тонкая, изящно-страдальческая красота жены сводила с ума Алексея Васильевича, и он бурно просил прощения, целовал ноги Наташи, смотрел на нее с вкрадчивой мольбою... до тех пор, пока домогался объятий и слез, и бессмысленно-ласковых восклицаний, и того радостного, торжествующего смеха во всем ее прекрасном лице, который ему казался «апофеозом любви». И на мгновение обоим казалось, что наступило

наконец слияние их душ, сердец, стремлений... пока вновь не овладевали ею — усталость и тоска, им — чувство удовлетворенного восторга и прежняя досада на жену, на Париж, на Левушку, на всех.

Не повторялись в Париже и лондонские споры, хотя к Перелыгиным и собирались по временам русские туристы и эмигранты. Уличное движение и погода были так соблазнительны, а Петр Евсеич и Наташа в таком рассеянном настроении, что чаще всего и в этих случаях дело кончалось обедом в ресторане или прогулкой в окрестности, причем не о «принципах» говорили, а о разных веселых пустяках или о текущих событиях. Иногда пели. И однажды, во время такой загородной прогулки, Струков еще в новом свете увидел свою жену. Какой-то хмель ударил ей в голову. Она дурачилась, хохотала до слез, декламировала стихи, затеяла бегать в горелки, до странности смело заигрывала с мужчинами, особенно с одним художником из Костромы, красивым кудрявым малым чисто русского типа, и упорно избегала встречаться взглядами с мужем. Алексей Васильевич видел, что

все это — простая шалость, и сначала ему было очень весело и смешно смотреть на влюбленное лицо костромича, и весело было думать, что прелестная женщина, за которой так ухаживают, принадлежит ему, Струкову. Но когда вызывающая смелость Наташи начала вызывать такую же смелость и у мужчин и в особенности когда художник, догоняя Наташу, упал вместе с нею, так что замелькали ее белые юбки, и когда, подсобляя друг другу подняться, Наташа взвизгивала с какой-то неуместной игривостью, а в распаленном лице костромича проступило особое, знакомое Струкову, выражение грубой чувственности, он сразу утратил всю свою смешливость и веселость. Весь не свой от нестерпимой обиды, он хотел немедленно сказать Наташе, что она «неприлично ведет себя», и даже подошел к ней за этим, когда она, приготавливаясь «гореть», прикалывала повыше юбку и оправляла растрепанные волосы, но, встретившись с ее тусклым, недобрым взглядом, растерянно улыбнулся и пробормотал вполголоса:

— Не устала ли ты?

Она ничего не ответила, однако вскоре оставила игру, и все уселись на траве. Тут кто-то сказал, что костромич превосходно имитирует мужицкие песни, и стали просить его. Кокетливо рисуясь, он жестом, действительно похожим на мужицкий, сдвинул набекрень шляпу, подпер рукою щеку, и уныло, немножко разбитым голосом, затянул что-то специально костромское. Это было в сен-клюдском лесу в виду великолепной панорамы Парижа... И было что-то необыкновенно жалкое в разительном противоречии этой заунывной песни с тем, что виднелось вдали в золоте наступавшего заката. За всхлипывающими стенаниями, неподражаемо вылетававшими из груди художника, за однообразно-печальным содержанием песни, — и за этими зданиями, башнями, памятниками великого города перед слушателями в той или иной форме возникали воспоминания и картины, надрывавшие их русское сердце. И как это ни странно, но особую тоску от щемящего противоречия двух историй, двух народностей, двух цивилизаций первый выразил коротенький, упитанный человек, эмигрант-ев-

рей, особо известный своим космополитизмом и категорическим отрицанием «фетишей, абсолютов и сантиментов».

— Ну, к черту эту костромскую дичь, будь она проклята! — крикнул он, тяжело посапывая носом от внезапно подступивших слез, и торопливо отошел к краю обрыва, внизу которого змеилась Сена.

Костромич остановился, оглянувшись с недоумевающей улыбкой. Все молчали. Со стороны Парижа едва слышно достигал внушительный ропот.

— А дочь Ярослава, Анна, была за ихним Генрихом первым, — неожиданно выговорил молодой магистрант из Москвы, махнув рукою по направлению к Парижу.

— Ну, и что же?

— Ну, и то же...

— Монголы, батенька, задавили.

— Какие, к черту, монголы! Своя же братья — купцы, бояре, дружинники, князья. Татар еще и в помине не было, а уж народ прет на север, в болота, в леса... Должно быть, от сладкой жизни, что размазал Алексей Толстой, от пиров да от вечевой свободы.

— А потом ваша Москва придушила все живое... С попами да монахами.

— Нет, господа, раса, раса испортилась на севере.

— Она еще в Киеве испортилась. Вы думаете, печенег, половцы, хазары и, как их там еще, редеди, что ли...

— Редедя — князь,

— Ну, черт с ним. Разве, думаете, не впустили калмыцкой кровцы?

— А на севере чудь белоглазая. То есть бездарность, проза, скотское смирение и воплощенный испуг... Хуже калмыцкой крови.

— Нет, то беда, что Владимировы послы у святой Софии обедню слушали.

— Это вы по Чаадаеву?

— Что ж, что по Чаадаеву. Представьте, если бы они послушали в Риме... История-то вышла бы, пожалуй, веселей вот этой костромской песни.

— А отлично вы, батенька, имитируете!

— Живой мужик.

— Ну да, и были бы у нас и клерикалы, и черт знает что... А теперь, слава богу: вверху — академическая толерантность, внизу —

«матушка святая Аграда, моли бога о нас!..»

— Что за «Аграда»?

— Просто церковную ограду освещали, а баба молилась. Факт.

Кое-кто еще рассказал о баснословном невежестве русского народа... Посмеялись, но как-то невесело: костромская песня все еще как будто стояла в ушах вместе с отдаленным гулом Парижа. Магистрант вздумал было перебить впечатление и затянул Марсельезу. Два-три человека подхватили, выговаривая, как всегда, «ален» и «занфан», но гимн звучал вяло и нелепо, а тут еще космополит обернулся и сказал с язвительной улыбкой:

— И здесь-то перестали воодушевляться этим старомодным враньем, а вы... Лучше бы уж «Ѕа іга» попробовали.

Но «Ѕа іга» никто не знал, кроме Левушки, который, однако, не решился обнаружить козлиный свой голос и полное отсутствие слуха.

А Струков давно уже с беспокойством наблюдал за женою. Как только костромич запел, у нее сразу исчезло то вакхическое оживление, которое под конец было так неприятно

и страшно для Алексея Васильевича. Лицо ее покрылось смертельной бледностью, в широко раскрытых глазах, устремленных вдаль, появилось выражение неизъяснимой тоски, почти отчаяния. Молча она слушала и песню, и разговоры после нее, и неудавшуюся Марсельезу — и кусала пересмягшие губы, как будто усиливаясь превозмочь внутреннюю боль... И вдруг, не успел Алексей Васильевич подбежать к ней, как схватила себя за голову и истерически зарыдала, выкрикивая что-то бессмысленное: «Заросла!.. Заросла... дорожка... частым ельничком!.. — можно было разобрать в этих криках. — И вы... еще смеете!.. Анекдоты!.. Они... хоть в ограду... Мы ни во что, ни во что... даже в Марсельезу... не верим!..» Дамы суетились вокруг нее; растерянный Алексей Васильевич лепетал какие-то утешения, расстегивал ей лиф, кричал: «Воды! Ради бога, воды!» Костромич, с лицом, на котором сквозь искреннее сожаление невольно проступало самодовольное торжество, в свою очередь, успокаивал Наташу, стараясь говорить шепотом, и простодушно уверенный в своем «праве», поглаживал ее руку...

Он ничуть не сомневался, что эффект произведен его пением, его ухаживанием, его наружностью и что Наталья Петровна влюблена в него. И когда она, несколько придя в себя, с брезгливым выражением отдернула руку, он несколько не разуверился, а почти-тительно вздохнул, как человек, сознающий необходимость подчиняться «конвенансам», и, приняв скромно-таинственный вид, отошел к сторонке. И чтобы тут же покончить с этим, в сущности, добрым, честным и талантливым человеком, надо прибавить, что он с тех пор всегда искал случая имитировать костромского мужика в присутствии хорошеньких женщин и многим рассказывал по секрету (конечно в пьяном виде), что если бы захотел, то Струкова... гм... гм... — так же, впрочем, как и всякая другая «с душой и темпераментом».

Возвратились в Париж в каком-то удрученном, отчасти даже в сконфуженном настроении, и Наташа была сконфужена больше всех. И несколько раз в тот вечер ласково и виновато шептала мужу:

— Не думай, не думай, миленький! Это у

меня оттого, что я вышила кофе с киршем... только от этого!

Но в другой раз она уже без всякой причины огорчила Алексея Васильевича и очень больно. Это произошло утром. В своем престном персидском халатике она писала письма, он сидел около стола как будто за книгой, но на самом деле не читал, а с чувством удовлетворенного восторга следил за линией склоненной шеи, затылка с небрежно закрученною косою, смелого профиля с ресницами, бросающими тень на золотисто-смуглую щеку... В это время она кончила страницу и мельком взглянула на него, потом пристальней... потом в ее глазах пробежало что-то неприятное... и вдруг сказала:

— С чего я находила, что у тебя печальные глаза? Совсем не печальные.

— И не глубокие? — с досадою спросил Струков.

Она легонько вздохнула и, не ответив, снова стала писать.

— Вот уж именно башмаков не успела износить... — начал было он, чувствуя, что краснеет до самых ушей от стыда и злобы, и на-

прасно стараясь говорить твердым голосом; но в это время вошел Петр Евсеич и заявил, что пора одеваться и куда-то ехать.

Так шли их дни в непрерывной смене тревожных настроений, в суете, в вечном предчувствии новых размолвок, в том, что между ними вырастала отчужденность, все реже и реже скрываемаемая горячим туманом страсти, иллюзией физического сближения.

О, как хотелось уехать Алексею Васильевичу, — разрушить это недоброе очарование парижских впечатлений, очарование темных сил, по его мнению, овладевших Наташей, разбить тот лед, в котором она замкнулась, прогнать от нее всех этих Верховцевых, костромичей, дам с серьезными убеждениями, увезти ее от соблазнов кипящей, как котел, улицы, исторических воспоминаний, политики, искусства, от соблазна жить ощущениями, среди которых не замечаешь, для чего живешь... И он напоминал об отъезде. Но Петр Евсеич ссылался на неоконченный перевод Courdaveaux, который было необходимо сдать в типографию в Женеве, а Наташа отмалчивалась. На самом деле и у отца и у доче-

ри были особые причины медлить в Париже. Перелыгин с некоторых пор пропадал до утра, и однажды кто-то из общих знакомых встретил его выходящим из Moulin Rouge с желтоволосой девицей под ручку. Наташины причины заключались в том, что увлекающая пестрота здешней жизни препятствовала ей оставаться в одиночестве со своими мыслями, которых она теперь так же безотчетно боялась, как дети боятся иногда темноты.

В конце концов Струков с чувством, близким к отчаянию, развернул свою лондонскую работу. И мало-помалу интерес к теоретическим определениям, к цифрам, к логическим выводам начал по-прежнему овладевать им. Раза два он побеседовал с эмигрантом-космополитом; убедился из этих бесед, что многое упустил за кропотливыми подробностями исследования, что надо обратить внимание на книжки, в последнее время значительно развившие смутные посылки Маркса. И в одно яркое, погожее утро, завязавши в ремень десяток этих новых для него книг, объявил жене, что на неделю уезжает в Фонтенбло. Наташа слегка удивилась, но, конечно, не проти-

воречила, и в первый день после его отъезда чувствовала себя как на каникулах. Особенно ее радовало то, что в спальне она одна, что не раздается в ушах странный шум чужого дыхания, к которому она до сих пор не могла привыкнуть, и нет мужчины, имеющего какое-то право быть при ней раздетым. Это давало иллюзию девичества, свободы, чистоты, и вначале так подействовало на Наташу, что она, ложась спать, в порыве чрезвычайного умиления перекрестила подушку, как это делала в далеком-далеком детстве. Однако на третий, на четвертый день ее стало преследовать ощущение какой-то пустоты и что-то вроде обиды на Алексея Васильевича зашевелилось в ее душе; чаще вспоминались лондонские дожди, скитания, разговоры, планы...

Наступила сильная жара. Париж разъезжался. Петр Евсеич был в отвратительном состоянии духа и однажды за обедом сказал Верховцеву:

— Скверно, милячок, дожить до того, что не ты от греха, а грех от тебя отступается... Ась? Не понимаете? Поймете, как стукнет шестьдесят... Надо вот восвояси собираться.

На шестой день из Фонтенбло пришла телеграмма: Vous feriez bien de visiter votre anachorite. D'ailleurs je suis indisposé[6].

Первым движением Наташи была самолюбивая радость: о ней вспомнили! она нужна! — вторым — беспокойство... В тот же вечер Левушка проводил ее на лионский вокзал, а в двенадцать часов лунной ночи онаехала одна-одинешенька по той великолепной аллее из платанов, которую, раз увидавши, нельзя забыть. Маленький городок уже спал. Спали и в том скромном отеле, где жил Алексей Васильевич. Но в его комнате светился огонь.

Струков не ждал Наташу так скоро и в глубине души боялся, что она и вовсе не поедет. Он был действительно нездоров — в жару и оттого с ослабленными нервами, и, поднявшись навстречу неожиданной гостье, неожиданно расплакался. Наташа совсем испугалась, пока не убедилась, что болезнь — легкая простуда, но все-таки заставила Алексея Васильевича тотчас же лечь в постель, выпить горячего вина и до утра просидела у его изголовья, беспрестанно ощупывая его лоб, нежно

унижая его нервическую говорливость. Он то-ропливо рассказывал, что успел прочитатъ в эти дни, как подвинулась его работа и как за «материалами британскаго музея» он действительно несколько отстал от теоретическаго движенія мысли в экономической науке. Пытался он было говорить и об их супружеских размолвках, о том, что он дрянной, себялюбивый человек и, конечно, во всем виноват, а она... Но она закрывала ему рот рукою и повелительно произносила:

— Об этом совсем не смей... ни слова!

Наутро он был почти здоров и нежен, кроток, уступчив, а Наташа чувствовала необыкновенную усталость от бессонной ночи и точно заразилась его вчерашней нервозностью. Он предложил ей поехать в лес, посетить парк, осмотреть дворец, побыть еще денька два в этом тихом идиллическом городке, но она сказала, что хорошо помнит Фонтенбло и если можно, то лучше сегодня же возвратиться.

— Ну, хорошо, — кротко согласился Струков и, связывая вещи, спросил: — А когда же в Россію, моя дорогая?

— Надо собираться, — ответила она. — Моя портниха, кажется, скоро отделается. Как вот Верховцев с рукописью.

— Ну, хорошо. Пока соберетесь, я, может быть, окончу статью. Это даже хорошо, что не очень скоро уедем. «Спешим медленно», — сказал какой-то мудрец.

Но случилось так, что в этот же день медленные сборы превратились во что-то похожее на бегство. И случилось как будто от пустяков. С какой-то станции, недалеко от Фонтенбло, открылся широкий вид. Холмистая даль замыкалась лесом; в глубине долины извилисто протекала река; на берегах и на склонах пестрели деревни... А в другую сторону тянулась равнина, сплошь засеянная рожью.

— Миленький мой! Смотри... как в России! — воскликнула Наташа, высовываясь из окна.

И действительно, в этом просторе, в этих далях с синеющим лесом, и особенно в этих полях с золотистой рожью, по которым так и ходили, так и лоснились волны, поднятые сильным ветром, что-то напоминало Россию. Они долго смотрели в окно... Смотрели до тех

пор, пока горизонт снова сузился и пошли мелькать аккуратные особнячки да изгороди да высокая культура. А потом взглянули друг на друга — в глазах у Наташи стояли слезы — и, без слов, крепко, по-товарищески пожали друг другу руки.

Спустя несколько дней их уже обыскивали в Александрове и с чрезвычайной отчетливостью. Очевидно, не в одних интересах фиска... По отвычке нашим путешественникам было немножко стыдно смотреть друг на друга после такой операции. Но станции через две стыд пропал: «Не дым — глаза не ест!» — утверждал Петр Евсеич, и... великая изобретательница таких вот пословиц, Русь, поглотила их в свои загадочные недра.

IV

Струковы поселились на хуторе, в семи верстах от Большого Апраксина и в тридцати от города, расположенного на берегу Волги. Место на хуторе было хорошее. Недавно отстроенный домик из смолистых бревен весело глядел с пригорка на долину. В долине протекал ручей, там и сям перехваченный запрудами; у ручья, недалеко от хутора, широко расползлась большая деревня бывших апраксинских крепостных, за нею виднелась другая деревня, поменьше. В ту и в другую сторону от деревень тянулись холмистые поля; за холмами, точно свеча из желтого воска, горела на солнце своим вызолоченным шпилем выкрашенная охрою колокольня села Излегощей, а на горизонте, на возвышенности, синел лес, отделявший долину от Волги. Вокруг хутора вместо сада росла молодая роща, за рощею развertyвалась нетронутая ковыльная степь... Глубокие овраги пересекали ее в разных направлениях. В оврагах гремели ключи, таился густой дубняк, в невероятном изобилии созревала ежевика.

Возвращение в Россию сначала нехорошо подействовало на Наташу. Грустно ей было и по дороге, когда мимо без конца мелькали серенькие виды, чахлые леса, убогие деревушки и еще более убогие люди, копошившиеся на убогих нивах; грустно и в Москве, когда-то внушавшей особый восторг, а теперь поразившей ее беспорядочной грудой камней вместо мостовых, смрадом, пылью, варварской нелепостью красок и зданий. Кремлем, наполовину казенным, наполовину наивным до смешного, Василием Блаженным, о котором обозленный Петр Евсеич сказал, что это «кошмар пьяного огородника»... Ей все грезились иные линии, иные краски, и, всматриваясь из окон гостиницы в цветной винегрет безвкусной московской старины, в разрозненные и скучные диссонансы стиснутого музея, сдавленной городской думы, она чуть не со слезами вспоминала о каменных красотах Рима, Парижа, Лондона, с их благородным темно-серым тоном, с их стройной и внушительной музыкальностью, от которой чем-то мистическим, вечным, зовущим ввысь столько раз переполнялась ее душа.

А в Москве пришлось прожить неделю, пока Петр Евсеич с помощью своих православных знакомых не нашел за триста рублей смелого попа, обвенчавшего Наташу с Струковым без троекратного оглашения и без особых справок об их добрачном состоянии.

Но когда с Ярославля поехали по Волге, Наташа точно переродилась. Настоящей родной повеяло на нее с этих холмистых берегов, — от привольно раскинутых сел со старинными церквями, от тихих, оригинально построенных городков, от монастырей, когда-то охранявших великую простоту и веру и самосознание русского народа, измученного татарщиной, развращенного смутами, закрепощенного хозяйственной беспощадной Москвою.

И чем дальше «вниз по Волге», тем делалось шире, светлее, просторнее, — так же, как и в душе Наташи... Оригинальность церквей и городов пропадала, старые святыни встречались все реже; но на смену возникали воспоминания, мечты, картины безграничной удалости, необузданной воли, каких-то непостижимых характеров, и сил, и запросов, и разгу-

ла... И Наташе становилось отчего-то весело и страшно.

И особенно было весело, когда на Волге поднималась «погода» — сильный ветер бил в лицо, чайки тревожно носились над водою, волны роптали с угрожающим шумом, даль курилась от пены и брызг, срывааемых ветром, и на горизонте хмурились горы.

И в зависимости от такого настроения все более тускнело перед Наташей то, с чем она так еще недавно сравнивала Москву и едва не плакала, — чужие края расплывались в каком-то тумане, не трогая и не волнуя сердца.

Что до того, что там порядок, культура, красота и захватывающие перспективы теоретической мысли?.. Пусть! Зато здесь свое, родное, дразнящая неопределенность в будущем, демоническая сила в минувшем и, главное — запросы, запросы... без уступки и без ответа.

Алексей Васильевич был первый раз на Волге, если не считать зимнего пути в Чердынь и обратно, и, в противоположность Наташе, испытывал сначала какое-то недружелюбное чувство к этой реке. Она наводила на

него, не то уныние, не то досаду. Слишком пусто и просторно, слишком неуютно, — он не умел подобрать другого слова, — и невольно в его памяти вставала иная Русь: тихие степные речки, светлый прудок с идилически наклоненными ветлами, мирное спокойствие гладких как скатерть полей, курган в отдаленье, жаворожки в небе, межа, заросшая полынью, пахарь за сохою... такое все смирное, кроткое, — без кровавых преданий и разбойничьей удали, — там, где его Куриловка, где промелькнуло его детство. Только образцово устроенные пароходы, да оживление на пристанях, да вид там и сям возникающей промышленности с настоящим европейским пошибом несколько примиряли его с Волгой, — то есть то самое, что казалось Наташе едва ли не осквернением, а ему — переходом к капиталистической форме труда и, следовательно, к прогрессу.

Впрочем, и Наташа и Струков были здоровы, бодры, веселы и почти по-прежнему влюблены друг в друга. Каждый вечер они устраивались где-нибудь в сторонке за чаем и хлебом с огромным количеством свежей ик-

ры и до поздней ночи, а иногда и до зари говорили о том, в чем были совершенно согласны — о предстоящей работе, о жизни на хуторе. И особенно хорошо было то, что некому было вставлять язвительных замечаний: Петр Евсеич, еще больше захандривший после свадьбы, отправился прямо из Москвы по железной дороге.

Правда, Наташу подмывало иногда возражать. То, что она наслушалась в Париже от Верховцева, вдруг смыкалось в ее мыслях с прошлым этой реки, однообразно шумящей за кормою, в воображении невольно сопоставлялись типы и факты минувшего с тем, что совершалось так еще недавно, — и ей становилось скучно от скучной целесообразности их планов и предстоящей работы... Но это быстро проходило от ласковой улыбки Струкова, от того, что он теперь не сердился и не называл Левушкины рассказы «враньем», а с тем же огнем в глазах и убежденным выражением голоса, как когда-то в Лондоне, говорил об эгоистической красоте «революционного героизма» и о том, что народу от этого только хуже.

И еще очень нравилось Наташе, что с каждым днем их медленного путешествия Алексей Васильевич привыкал к Волге, начинал находить особое очарование в ее видах и часто с раскрытой книгой на коленях не отрываясь смотрел в ее даль и говорил:

— Правда твоя, Наташа... В ней что-то есть... Ее можно полюбить, как море.

За всем тем, когда ночью приехали на хутор и когда рано утром Струков вышел на крыльцо, увидел ручей, пруды и долину, ощутил необыкновенную тишину, стоявшую в воздухе и вдруг прерванную петушиным криком и хлопотливым кудахтаньем кур, все в нем так и задрожало от радости.

Почти то же произошло и с Наташей. В это ясное утро она сразу почувствовала, что ужасно устала от отелей, от железных дорог, от многолюдства, от «достопримечательностей», от разных мыслей... и от любви, стремительно заполнившей ее душу — точно разлив в половодье, устала нервами, умом, воображением, и что эта глубокая тишина обнимает ее как теплая вода в ванне. Ей не хотелось ни думать, ни читать, ни разговаривать о тон-

ких и сложных вещах, а просто хотелось дышать этим чистым степным воздухом, непрерывно двигаться, говорить о пустяках, ощущать прелесть мелочей и хозяйственных забот и радостно вслушиваться в тишину. А мелочей и забот было много. То есть все это было на руках приказчика Олимпия и экономки Гертруды Афанасьевны — бесподобных рабов, воспитанных еще бывшими помещиками, но Наташа так же теперь сгорала желанием растрачивать свою физическую энергию, как прежде сгорала в мечтах и в мыслях. В первый же день она обежала весь хутор, осмотрела конюшню, каретный сарай, птичник, амбар, хлевы, кладовые, избу для рабочих, «конторку» для приказчика. Все было обновлено и отстроено в ее отсутствие, от всего пахло свежим лесом, везде уже было населено и наполнено: птицами, коровами, лошадьми, экипажами, съестными припасами... А в доме кое-как стояла мебель, — ее надо было расположить как следует; надо было распаковать ящики с книгами, развесить платье по шкафам, устроить кабинет для мужа. Так несколько дней подряд Наташа не давала ни-

кому покоя, носилась, гремя огромной связкой ключей, с озабоченным и разгоряченным лицом, сбила с ног экономку, приказчика, двух кухарок, двух горничных, кучера, рабочих...

— Ну, огонь наша барыня! — говорили вечерами в застольной; говорили, впрочем, с удовольствием, потому что работа кипела без строгости, с шутками, с расспросами о домашних делах и, главное — всем было прибавлено жалованье, для всех улучшена пища и выдавался чай.

Алексей Васильевич чувствовал себя совершенно лишним в такой суете и хотя не мог не любоваться на жену в этой новой для нее полосе хозяйственной страстности, но в глубине души это ему не совсем нравилось.

— Не боишься ты... поглупеть? — посмеиваясь спросил он Наташу, когда она однажды в изнеможении упала на кресло в его кабинете и, машинально перебирая ключи, задумалась о чем-то.

— Ах, создатель мой, да я уж чувствую, что глупа, — ответила она с рассеянной улыбкой. — И как это хорошо, если б ты знал!.. Что

ты читаешь?

— Астырева, о волостных писарях. Но надо бы начинать и другое... Знакомиться с крестьянами, узнать про школу...

— Хорошо — Астырева?

— Удивительно правдиво и интересно. Хочешь, вместе прочитаем?

— Отвратительная школа... тесно, угарно... Пять лет, — а в деревне никто не умеет написать письма! Учитель уходит в писаря. Каков-то новый будет...

— Откуда ты успела узнать?

— Все знают. Работник Агафон отлично знает. Поп пьет мертвую. Подпасок Вася две зимы ходил — не умеет читать. Девочек вовсе не пускают.

— Так надо бы поговорить с крестьянами...

— Ах, погоди, миленький, дай образумиться. Хорошо, хорошо, прочитаем вместе... А теперь прощай, надо бежать, коров пригнали... Вот удовольствие — доить, если б ты знал! От чего ты сам не переговоришь с крестьянами?

«Оттого, что я не хозяин здесь», — хотел было сказать Струков, но промолчал, боясь обидеть жену. В сущности, ему действительно

но было неловко в роли ничего не делающего и ничего не имеющего «перельгинского зятя». Противное это словечко он сам подслушал в разговоре кучера с приезжим мясником, и еще слышал, как называли хутор — «зятевым хутором». И он предпочитал, куда не показываясь, сидеть в кабинете, читать, готовиться к должности мирового судьи, в которую надеялся быть выбранным.

Приходили мужики из ближней деревни, принесли хлеб-соль и два вышитых полотенца; просили сдать отаву под пастьбу, жаловались на «утеснение», — они были на «даренке». Струковы поили их чаем и, неслыханное дело, за одним столом с собой, но отаву, оказалось, сдать нельзя, потому что Олимпий отдал ее купцам под гурты. Алексей Васильевич, гораздо более сконфуженный этим «общением», нежели сами мужики, невпопад спрашивал, некстати употреблял книжные слова и плохо понимал ответы, — и отчасти завидовал Наташе, которая, непринужденно расставив на столе локти, цедила чай с блюдечка и все наводила разговор на училище, выражаясь точно и просто. И крестьяне сразу

заметили, что «сила в самой», так что через полчаса Струков свободно мог уйти к себе в кабинет и засесть за книжку Неклюдова: к нему никто не обращался; а когда вышел проститься, то узнал, что Наташа на свой счет перестраивает школу и делается попечительницей и что в будущем году значительная часть покоса и отавы обещана крестьянам.

— Это, миленькие, половина дела, — говорила Наташа, пожимая заскорузлые руки депутатов, — вот поближе узнаем друг дружку, да и хозяин мой осмотрится, может быть, и еще что придумаем. Станем жить по-соседски.

И «хозяин», в свою очередь, прикасался к заскорузлым рукам и, напряженно улыбаясь, бормотал, что очень рад, что в следующий раз он подробно переговорит с ними об их «экономическом положении», и злился на самого себя за эту улыбку и за то, что не говорит по-человечески, а бормочет.

— погоди, Алеша, образуется! Это оттого, что ты «головастик» у меня, смотришь на людей сквозь книжку... — утешала его жена, когда мужики ушли, и, развеселившись, вско-

чила к нему на колени, путала его волосы, звонко смеялась, повторяя: «Головастик! Головастик!»

Не все, однако, сидели на хуторе. Иногда Струков отправлялся с Петром Евсеичем по уезду — к предводителю, к выдающимся земцам, к влиятельным помещикам. Иногда в сопровождении того же Петра Евсеича или вдвоем с Наташей они ездили верхом по окрестности... И вот когда ездили вдвоем, их посещали чудные настроения. Этим настроениям не мешало даже и то, что Алексей Васильевич верхом на лошади был труслив и неловок до смешного. Истинный горожанин по своим привычкам, да при том еще русский либеральный горожанин, он был глубоко убежден, что если лошадь не в сохе и вообще не кляча, так она затаенный враг человека, а всякого рода спорт — скучная и зазорная трата времени и денег. И за то Петр Евсеич, страстный спортсмен и знаток лошадей, обливал его учтивым презрением. Наташа жестоко подсмеивалась над ним. Странно было смотреть на них, когда где-нибудь на просторе она нарочно пускала во весь карьер горя-

чего и резвого Карабаха, а Струков летел за нею, угловато сторбившись, взмахивая локтями, с бессмысленно сосредоточенным взглядом, устремленным на поджатые уши своего темно-рыжего меринка.

— Тише, тише, сумасшедшая! — кричал он. — Уверяю тебя, это хитрое животное собирается сбросить меня с седла.

Наташа оборачивала к нему разгоревшееся лицо, весело хохотала, восклицая:

— О, трус! О, жалкое порождение цивилизации... Смирнее твоего Ваньки нет лошади на свете! — Но наконец сдерживала коня, и они ехали шагом. И как восхищался ею успокоенный в своей безопасности Струков. Грудь ее волновалась, возбужденное лицо дышало какою-то юношескою отвагой, в сияющих глазах светилась самоуверенная удаль... А со стороны можно было подумать, что в этой паре ей, а не ему принадлежит первенство и что слова апостола: «Жена да боится своего мужа», — прозвучали над ними совсем напрасно.

Через лес и холмы пробирались иногда к Волге, и вот где овладевало ими какое-то сме-

шанное чувство восторга и печали. Оставивши лошадей в ближней деревушке, они сажались где-нибудь на возвышенности и целые часы проводили там, упоенные видом захватывающей дали, сверкающим пространством огромной реки. На той стороне кудрявились леса, там и сям стройно белелись церкви, в далекой излучине берега пестрел своими крышами небольшой город. По реке медленно двигались барки, плоты, едва приметные лодки, иногда пробежал с торопливым пыхтением пассажирский пароход... Порою доносилась заунывная песня, свисток гудел, вызывая в горах протяжный отклик, плакала чайка, взрезая воду острым крылом... И, несмотря на эти звуки и на движение, стояла такая величавая тишина, что в каком бы шумном настроении ни приходили Струковы, они невольно умолкали или говорили вполголоса. Алексей Васильевич сознавал теперь, что было что-то неизъяснимое в картине этой реки с уходящими в бесконечную даль берегами, с загадочным туманом на горизонте. Что-то в ней звало и манило к себе, какие-то крылья вырастали от ее простора, слагались ши-

рокие волнующие мечты... Но о чем мечты? Куда лететь на тех крыльях? Откуда слышен призыв и к чему? Не было ответа. «Точно Россия!» — вырвалось однажды у Струкова с некоторым оттенком досады.

— Какое ты слово сказал... — задумчиво произнесла Наташа и, помолчав, глубоко-глубоко вздохнула.

И обыкновенно, возвращаясь оттуда, они каждый раз уносили с собой впечатление какой-то силы, чего-то такого, что повергало их в серьезное раздумье, настраивало их мечты на высокий, немножко грустный лад.

Возвращались обыкновенно к вечеру. Косые лучи ложились на поля; пахло дымком, полынью, спелым хлебом; стада подымали клубы румяной пыли; пастух играл на жалейках, где-то в лесу переливисто и звонко ржал жеребенок; телега стучала по дороге, затерянной в хлебах; колокол гудел к вечерне... А дальше загорались звезды, и тихая теплая ночь мирно опускалась над окрестностью.

В половине зимы Алексей Васильевич стал мировым судьей. Для утверждения в этой должности ему тотчас же после выборов при-

шлось съездить в губернский город и в Петербург и отдать там некоторый отчет, а Петру Евсеичу пустить в действие все чары и связи своей «фирмы», дабы убедить, кого следует, что это ничего, что судебскую цепь наденет человек, побывавший в Чердыни и Лондоне и женатый на бывшей «раскольнице»... Но в конце концов дело уладилось, и Струков, в пределах тогда уже заподозренной компетенции мировых учреждений, мог беспрепятственно давать суд и расправу тридцатитысячному населению «пятого участка».

Хлопоты по выборам и утверждению, а потом по устройству камеры и канцелярии так и помешали Алексею Васильевичу сблизиться с деревней и чувствовать себя с мужиками как с равными людьми. Затем и то в его глазах все более не подлежало спору, что судье неудобно очень-то сближаться, и достаточно отстаивать правду и справедливость в камере; что же касается до экономических предприятий, он предполагал в ближайшем будущем заменить Олимпия агрономом из саратовской школы, устроить общественную лавку, склад семян и сельскохозяйственных ору-

дий, какое-нибудь кредитное учреждение, — одним словом, все то, что еще намечалось в Лондоне... А пока хутор напоминал в этом отношении усадьбу «хороших господ» при крепостном праве: мужики приходили просить «способица» и получали деньги, лес, хлеб... даже одежду. Впрочем, непременно «взаймы» и с записью в особо заведенную книгу.

Наташу утвердили попечительницей школы гораздо скорее, нежели Алексея Васильевича судьей. Получив о том бумагу, та немедленно выписала из Москвы учебные пособия, народные книжки, волшебный фонарь с картинками, — просила магазин отобрать по этой части все, что есть лучшего, и пригласила к себе вновь назначенного учителя и того из двух священников села Излегощей, который и прежде преподавал в школе закон божий. Ей хотелось поговорить с ними о плане занятий, об устройстве народных чтений, о воскресных классах и вообще выведать, как они смотрят на «народное образование».

Учитель оказался белобровым и белоусым пареньком из крестьян, с затаенным влечением к цветным галстукам, цепочкам и ярко

вычищенным сапогам, с большим презрением к «деревенскому невежеству», но добродушный и как будто готовый усердно подражать «развитым» людям не только в образе их жизни, а и в идеальных стремлениях. В доме Струковых его так поразили красивые вещи, — мебель, гравюры на стенах, бронзовые лампы и часы, рояль с механическим тапером, серебряная посуда в буфете, что он только посматривал вокруг восхищенными глазами, и когда достаточно осмелился, подходил на цыпочках к вещам и осторожно потрогивал их пальцем, а когда еще больше осмелился, стал спрашивать Наташу о цене вещей и благоговейно покачивать головою. Говорил он курьезно. Так, вместо того чтобы сказать: «Погода сегодня хорошая», — он говорил: «Сегодняшний день в атмосфере замечается благорастворение», — и вместо «согласен» — «солидарен», вместо «надеюсь» — «имею в надежде» или «имею в идеале»; лицо называл «физиогномия», прогресс — «прогрессивность» и до слабости любил вставлять слова: «абсолютно» и «рационально». На Наташу он сначала и взглядывать не решался: она его

положительно ослепляла — и красотой, и тем, что «роскошно одета» (она была в своем персидском халатике), и что от нее пахнет какими-то «аристократическими духами», и что «очень образована». Но когда совсем осмелился, поощряемый любезностью и простотою обращения, то подумал, что надо поддержать «собственное достоинство», и под конец визита засунул руки в карманы штанов, пытался закидывать нога за ногу, бросал окурки на пол и так развалился на диване, что между жилетом и штанами обозначилось белье. Впрочем, во всем соглашался с Наташей, искренне был готов действовать по ее планам... Эти планы хотя и выходили из пределов отлично им зазубренной школьной программы, но он наивно верил, что такая «богачка» все может.

Во всяком случае Наташа в тот же день написала мужу, бывшему в губернском городе, что учитель — уморительный и наводит на грустные размышления о постановке дела в педагогических семинариях, но кажется, его возможно «обломать». В сущности, ее значительно подкупило то обстоятельство, что Зо-

лотушкин — так звали учителя — обещал быть вполне послушным и смотрел на нее как на существо иной, высшей породы.

Гораздо хуже вышло с отцом Демьяном. Тот, как приехал, так мгновенно наполнил дом запахом перегорелой сивухи, шумом своей новой шелковой рясы и каким-то язвительным звуком голоса. И лицо его с оплывшими чертами, с шныряющими по сторонам глазами, с обидчивым и недоброжелательным выражением на тонких губах ужасно не понравилось Наташе. Приехал он не один, а в сопровождении псаломщика, тонкого, вихрястого, длинного молодого человека в отрепанном подряснике, очевидно, запуганного свыше всякой меры и бедного до нищенства, но с умным и добрым лицом, приятность которого даже не портили необыкновенно красные и густые веснушки; под мышкой у псаломщика был узелок.

— Понимаю так, госпожа... Во имя отца и сына... что я приглашен отслужить молебен по случаю новоселья? — развязно объявил о. Демьян, благословляя Наташу. — Хе, хе, хе, позднеенько, позднеенько хватились. Ну, да что

с вами делать: не приобыкли к уставам нашей матери православной церкви... Да-с.

Наташа скрепилась и кротко ответила, что действительно еще не привыкла и что очень просит отслужить.

— Всеконечно, с водосвятием? — спросил о. Демьян и с грубостью, поразившею Наташу, бросил в сторону псаломщика: — Иннокентий, валяй с водосвятием!

После молебна сели. Иннокентий в отдалении на кончике стула, и Наташа заговорила о школе. И о. Демьян сразу заявил, что «в виду отлично-превосходных статеек сиятельного вельможи, князя Мещерского и циркуляров епархиального ведомства» лучше всего переименовать училище в церковноприходское, как уж это совершилось в Излегощах с помощью благотворителя Михея Анкидиновича Юнусова.

— Это кабатчик Юнусов? Процентщик? Ябедник? — сердито сдвигая брови, спросила Наташа.

— Вот уж какие у вас сведения, госпожа... хе, хе, хе! Да-с, лихву берет, ее же брал и мытарь, и питейное заведение содержит, святой

равноапостольный князь Владимир недаром провозгласил: «Руси есть веселие пити». Но неизвестно — как новые прихожане, о Михее же Анкиндиновиче могу по совести и по священству свидетельствовать: подлинный ревнитель церкви божией... Да-с. А если вам что-нибудь мужичишки наболтали — не верьте: не только Юнусова, меня, пастыря своего, обогнут. Народ закоснелый, весьма. В семи водах не вываришь... Да-с.

— Это все равно. Школа — земская и будет земская. Я только хотела узнать...

Но о. Демьян не слушал и все более и более возвышал неприятно дребезжавший голосок:

— Кум Михей, должен вам объяснить, госпожа, высшему, жандармскому начальству известен за патриота... Да-с. Подобно же сему десять лет назад проявились в нашей местности социалисты и корреспонденты... Да-с. Будто бы волостной писарь и будто бы его гость из столицы... Да-с. Я опорочен ими, госпожа, в журналах опорочен, (о. Демьян взвизгнул на этих словах)... полным именем... Крестовоздвиженский... Дамиан... Да-с. Ну, да ничего. Крамолу-то фю-фю... на курьерских... Нужды

нет — я, мол, газетный сотрудник, — пожалуйста, с жандармом! А мы с кумом Михеем, — слава создавшему нам свет! — вот они, живехоньки... хе, хе, хе!

— Ну, батюшка, этому времени не возвратиться, — стараясь сохранить изменявшее ей хладнокровие, сказала Наташа.

— Вот эдак-то? Н-не знаю... Н-не думаю...

— На Волге тогда действительно были революционеры...

— Ага! И вам известны...

- И очень понятно, что власть легко было ввести в заблуждение... разным Юновым.

— Как так в заблуждение, госпожа? Почему в заблуждение, ежели я вижу превратную пропаганду и по долгу присяги доношу?

— В чем же заключалась пропаганда?

— Не смей пастыря духовного публиковать.

— Но за это можно в суд?

— Ах-ха, ха, ха... А в суде кто? Они же, сатанины дети? Воочию исследовано патриотической прессой, кто в суде. Матерь Митрофанию упекли... Чего же было ожидать? А почему, осмелюсь полюбопытствовать, вам как будто

неприятен этот мой разговор?

— Нет, что же, говорите...

— Нет, почему же-с? Я — ваш пастырь, духовный отец... Желаете воспитанием православных отроков руководить... и вдруг вам как будто неприятно? Ась?

Наташа вспыхнула и готова была ответить дерзвостью, но в это время Иннокентий крикнул и странно громким для своей приниженной позы голосом произнес:

— Не будет ли милость ваша закусить, Наталья Петровна?

Как она была благодарна этому веснушчатому человеку! Вмиг ее негодование заменилось смешливостью, и, притворно входя в роль любезной хозяйки, она обратилась к о. Демьяну:

— Ну, что там, батюшка, неисповедимое исповедовать, пожалуйста-ка в столовую.

— Нет, однако же? — настаивал о. Демьян, следуя за нею; но когда растворилась дверь и показалась разнообразно сервированная закуска с рядом графинчиков и бутылок, он неожиданно преобразился и, расставив руки, отчего сделался как будто крылатым, вос-

кликнул:

— Что за яства! Что за напитки! Поистине, госпожа, Валтазарово пиршество нам устроили... Похвально, похвально (и с прежней грубостью): — Иннокентий, садись!

Сам же, прежде чем сесть, ходил несколько времени вокруг стола, сладострастно причмокивая губами, низко наклоняясь, нюхая, — и указывая перстом на бутылки, спрашивал: «Номер сороковой?.. Горькая?.. На рябине?.. Зубровка?..» — потом сел и сказал с глубоким вздохом: «Недостижимо... недостижимо сельскому священнослужителю. Бываючи у брата, консисторского секретаря, пробова. Все пробова. Да-с. Но и только, и только, госпожа. И не верьте мужичишкам. Прикажете приступить? Сороковой номер, сороковой номер соблаговолите... Хе, хе, хе, слеза и кристалл! Во имя отца и сына...» Он методически отвернул рукав рясы и, поддерживая трясущуюся руку другой рукою, медленно выпил. И вдруг на его зажмуренном лице изобразилось такое страдание, что Наташа подумала, не другое ли что-нибудь в графине вместо водки, и испугалась, но лицо понемногу

стало светлеть, глаза раскрывались, страдальческая гримаса погасала... и все озарилось блаженнейшей улыбкой.

— Пей, Иннокентий, сороковой номер, — выговорил он, нюхая корочку черного хлеба, — превыше сего дерзали, да не достигли, ни госпожа вдова Попова, ни господин Штри-тер.

— А вам, отче, теперь иного сорту благословите? — спросил Иннокентий.

— Паки и паки сороковой, дурашка. За ваше здравие, госпожа!

И долго продолжалось это «паки и паки», и «пей, Иннокентий!», и «за ваше здравие!», при чем о. Демьян только после четвертой рюмки приступил к «солененькому», Иннокентий же сразу навалился на пирог и на жареного гуся. Потом о. Демьян заговорил, и уже гораздо благосклоннее, нежели натошак, хотя до конца не оставлял своего ехидства.

— Где же ныне супруг ваш, госпожа? — спрашивал он. — Почему ни разу не удостоил храм божий посетить? Напрасно, напрасно. Да-с. А родитель ваш... Коснеет? Все в заблуждении коснеет? С такими-то, можно сказать,

сокровищами... ах-ха, ха, ха.

— Отец с уважением относится ко всякой вере. На его же счет я вот буду помогать школе. Стало быть, и вам, православному законоучителю...

— В каких сие смыслах? — с оживлением спросил о. Демьян.

— Буду приплачивать к земскому жалованью, оно ведь такое ничтожное.

— Ага... Похвально, похвально. И велика ли предвидится цифра надбавки, осмелюсь полюбопытствовать?

— Сто рублей, я думаю...

— Гм... И сто двадцать, например, для легчайшего исчисления? Мужичишек, мужичишек-то не балуйте. Наслышан — щедрой рукою поощряете их леность. Жалко, воистину жалко! Расточить легко... ох госпожа, сколь легко расточить, но собрать... Да-с. И к чему? Мужик прирожден работать... в поте лица... Пей, Иннокентий!.. А жертвы от вас не видим. Вот колокол... ограда... утварь позолотить... Чья обязанность? Ась? Обязанность взысканных щедротами прихожан... наипаче вновь вступивших в лоно церкви, — а вы, госпожа,

уклоняетесь.

— Все со временем, батюшка. Но как насчет школы...

— Согласен, за сто двадцать рубликов согласен. Ох, прозираю, куда клоните, хе, хе, хе!.. Буду, буду иметь косвенное наблюдение, госпожа... А ежели угодно, чтобы вполглаза наблюдать — этак вот (о. Демьян лукаво прищурил один глаз) — так смотря по вашему усердию. Ну, сенца там, бревнышек, лошадку взять на прокормление... ась?

— Но и преподавать, кроме наблюдения?

— Хе, хе, хе, нужно ли тебе сие, госпожа!.. Ну да, все, конечно, и преподавать. По-прежнему. Но часто не могу, нет-с, увольте... Что же, ничего, учитель должен преподавать. Ты ему прибавь из сокровищ родителя, и ничего, и пусть себе.

— Ведь он не имеет права?

— Хе, хе, что права, сударыня, какие права... За ваше вожделеннейшее!

— Однако приедет инспектор...

— И пускай его приедет. Все мы человеки. Инспектор выше описания какой господин. И займы, займы, шельмец!.. Ох, любит брать

взаймы! Я вам вот что доложу, госпожа... на ушко, на ушко... (Он обдал Наташу пьяным дыханием). Кто сокровища приумножил — у того и права... хе, хе, хе!.. Наливай, Иннокентий. Но не возносись, барыня, да-с! Миллионщик был Кандалинцев... слыхала? А не поладил с духовным пастырем, и тово... Училище за свой счет желаю содержать, — не надо! Двести десятин даю на предмет вечного обеспечения, — не желаем! Туды-сюды, кинулся в иное ведомство... Агрономическое желаю! Пятьсот десятин!.. Отваливай, не нуждаемся! Хе, хе, хе... А началось с попа.

Наташа действительно слыхала об этой неправдоподобной истории с либеральным золотопромышленником Кандалинцевым, и в общих чертах о. Демьян передавал верно, но она тотчас же подумала, что и это происходило давно, и не пример, и нечего бояться этого несчастного алкоголика. Тем не менее ее настроение становилось хуже и хуже, и мелькала мысль попросить батюшку удалиться, и о том думала с чувством близким к отчаянию, что мечты о хорошей, о «настоящей» школе неосуществимы, что и сносную-то можно

устроить, лишь поддерживая отвратительные связи. А о. Демьян продолжал, все более впадая в фамильярный тон:

— Ты за пастыря держись, госпожа... и спасет и сохранит тебя от всякой скверны. Не брезгуй... Не возносись... Паки рябиновой, Иннокентий! И перед кумом не возносись... на ушко... на ушко: скотоподобен сей муж... каверзник... тать... прелюбодейца... по священству могу засвидетельствовать, но патриот, понимаешь? А ты бы вот как, ежели ты не горда: пришли этак икорки, балычка, напитков, да и сама этак... А у меня, кстати, и попадья именинница... в четверг... В рамс играешь?.. Напригласим гостей... всеконечно и Михейку Юнусова... Ась? Верно те говорю: не только учитель — родитель твой пусть орудует... по старинке! по старинке!.. и покроем, и сохраним тя от всякой напасти... хе, хе, хе! За ваше здравие.

Совершенно обескураженную этой перспективой рамса и именин Наташу опять утешил, однако, Иннокентий. И, по своему обыкновению, неожиданно. Когда о. Демьян, пошатываясь, вышел из комнаты, он воровски

глянул ему вслед и быстро сиплым шепотом забормотал:

— Не споетесь, Наталья Петровна. Натошак — сущий кляузник и злец, в пьяном виде — одно слово скандальник. Вы маленько годя удалитесь... от греха: не уйдет, покуда не свалится. И для дамских ушей неудобен. Вот какой фрукт — мы с отцом Афанасием третий на него донос анонимный посылаем. Замучил!

— Но как же быть с школой? — тоже шепотом спросила Наташа.

— К отцу Афанасию обратитесь. Преподчитенный старик. И обременен многочисленным семейством... Признаться, я на его дочери женюсь (Иннокентий скромно потупил глаза). А этого... вот только дай бог братца, секретаря, прогнали бы... этого мы ниспровергнем.

— Зачем же все-таки анонимно-то?

— Эх, матушка Наталья Петровна, ничего вы в нашем духовном положении не понимаете... Тсс... идет... Поговорите же с нареченным тестем. — Потом крякнул и громко произнес: — Н-да-с, подлинно-с преавантажный у

вас домок.

Вскоре Наташа заметила, что ей действительно надо уйти, и заперлась в своей комнате, отрядивши в качестве хозяйки Гертруду Афанасьевну. Спустя час она услышала из своего заключения какой-то шум, какую-то возню и брань и странные звуки хлынувшей на пол жидкости, — так, по крайней мере, ей показалось, — а после от помиравшей со смеху прислуги и оскорбленной Гертруды Афанасьевны узнала, чем кончилось посещение о. Демьяна. Подробности были неописуемы.

Впрочем, на другой же день приехал на косматой мужицкой клячонке отец Афанасий, другой излегощинский священник, и заставил Наташу забыть неприятное знакомство с о. Демьяном. Это был седой густоволосый старик с голубыми младенчески наивными глазами, с бесконечной доброй и грустной улыбкой и робкими манерами. Сначала он все покашливал, в руку да оправлял свою поношенную рясу и внимательно всматривался в Наташу; но за чаем, — от водки и закуски он отказался, — если и не очень разговаривал, то много расспрашивал. И потом сказал с

задумчивым видом:

— Дай бог, дай бог, хорошее дело. Темнота даже до избытка... По малодушию даже в отчаянность приводит эта пуще языческой темнота. Только вот с отцом-то Дамианом... Видите, это в его приходе, не в моем.

— Но мы хотим быть в вашем.

— Вы-то так, положим; вы — землевладельцы. Но училище в деревне, мужички не имеют правов самопроизвольно менять приход.

— Тогда я напишу ему, что несогласна на прибавку к земскому жалованью, он и откажется.

— Ну, нет, матушка, вряд ли откажется. Чтобы досадить, не откажется.

— Но ведь он учит в церковноприходской?

— Он, он... Не допустил меня. Из-за камилавки землю роет.

— Ну вот, так и подадим заявление, что отец Демьян занят, а вы свободны.

— Съест он меня, милушка, поедом съест. Семейка-то у меня велика... куда деться?.. А иное дело что же это я, — он стыдливо покраснел и заторопился, — вы еще, пожалуй,

подумаете: выторговывает старый поп... Давайте же лист бумаги. Во имя отца и сына и святого духа... — И вдруг щегольнул латынью и по-детски рассмеялся. — Амикус Плато, сед магис амика веритас! [7]

— А мы все-таки и о вознаграждении условимся... — начала было Наташа, когда о. Афанасий, написавши заявление, стал прощаться.

— Ни, ни, ни, — заспешил он, отмахиваясь и снова вспыхивая стыдливым румянцем, — это уж там... это уж после как-нибудь... — И совершенно некстати опять щегольнул латынью и опять по-детски рассмеялся. — Нолите миттере маргаритас анте поркос! [8]

Правда, спустя несколько дней приехал Иннокентий с нареченной тещею, много плакали на бездоходность прихода, лучшая часть которого была у о. Демьяна, на то, что нечем воспитывать и не во что прилично одеть детей, и выпросили семьдесят пять рублей вперед, да три воза сена, да воз муки, да чтобы два подтелка проходили лето на Струковой степи. Но Наташа была уверена, что о. Афанасий тут ни при чем, а что нужда дей-

ствительно велика, и не только исполнила все просьбы попадья, но подарила еще шелковое платье для невесты Иннокентия, за что попадья, внезапно сорвавшись с места, чмокнула ее в руку... Долго горел этот раболепный поцелуй на руке Наташи, и многое она простила за него русскому православному духовенству.

А о. Демьян как только узнал о приглашении о. Афанасия, так сделался лютейшим врагом новых землевладельцев. Впрочем, явно не обнаруживал этой вражды, отчасти потому, что его поведение после «сорокового номера», рябиновой, горькой и иных сортов было чересчур неосторожно, а отчасти потому, что Алексей Васильевич был избран и утвержден мировым судьей.

Перестройка школы несколько запоздала, и занятия пришлось начать с поздней осени. В просторное помещение, рассчитанное и на воскресные классы, и на народные чтения, оказалось возможным принять много новеньких. С прежними почти весь школьный возраст деревень Большой и Малой Межуевой посещал теперь училище, разумеется —

считая этот возраст не по-заграничному, а от десяти до четырнадцати лет. То есть сначала-то не «посещал», а был только «записан», да и то по убедительной просьбе Наташи, которая лично уговаривала упрямившихся родителей, обещая, что теперь «учеба будет настоящая», что бумага, карандаши, перья, грифеля будут выдаваться бесплатно, что ребятки не станут, как прежде, «блевать» от угара и спертого воздуха и «слепнуть» от того, что темно. Потом пошли «манкировки», и в ужасающем количестве, то потому, что «нетути одежды, обувь разбилась, тятка не пустил — овес молотили, мамка не велела — на речке была, за малыми ребятами некому приглядеть», то просто «так», без всякого повода. И этот «самый страшный порок русской народной школы» продолжался до тех пор, пока Наташа не устроила бесплатную столовую и не приобрела для самых бедных валенки и теплую одежду. Обошлось это не дешево. По расчету Алексея Васильевича каждая школа при таких условиях должна бы затрачивать за зиму сверх обычного своего бюджета до пяти рублей на ученика. Но зато эффект

вышел поразительный. Вместо 15 %, а ближе к весне и до 50 % отсутствующих, в классы не являлось самое ничтожное число, а главное — ребята почти весь день находились в школе, то есть в светлом, просторном и сухом помещении, и гораздо дружнее и внимательнее учились. Образовывалась привычка к школе, как к своему дому, вот что было самое главное. Алексей Васильевич торжествовал, доказывая Наташе на этом примере преобладающее могущество «экономических факторов».

С первых же уроков Наташа с удовольствием заметила, что Золотушкин отлично знаком с техническими приемами первоначального обучения и что в первом отделении он вообще очень полезен. Тем более что с каждым визитом на хутор убеждался, что учительское дело очень уважается «богатыми» и «образованными» людьми и что, по мнению тех же людей, крестьяне не «мужичье», как он предполагал дотоле, а «народ», нечто вроде особого и даже священного чина... Во втором и третьем отделении занятия шли гораздо хуже, да и не мудрено: дети были страшно

неразвиты, едва умели читать и писать и так были сбиты с толку механическим преподаванием бывшего учителя и запуганы грубым обращением, доходившим до пощечин, подзатыльников, дранья за волосы и т. п., что туго поддавались новым приемам. Сначала Наташе показалось, что, по крайней мере, арифметика у них удовлетворительна да по «закону» они отчеканивали без запинки. Но вскоре и это объяснилось нехорошо: то, что отчеканивалось, понималось ими либо в самом превратном смысле, либо совсем не понималось, а задачи решались по первобытному, догадкой, с помощью особой мужицкой «интуиции», но без всякого соображения о том, почему так решается и отчего нельзя иначе.

Вообще, присматриваясь к прежним ученикам, Наташа поверила в то, что до сих пор считала парадоксом: что плохая школа хуже, чем никакой. Когда нет никакой школы, ум все-таки живет, воображение работает, личность определяется, — чем живет, что работает, во что определяется, это уже другой вопрос. Но вот точно какая-то механическая пасть вбирает в себя умных, впечатлитель-

ных, любознательных детей, пережевывает их с бездушной неукоснительностью и выбрасывает вон обезличенных как стереотипы. Свой прежний, неграмотный ум словно обрастает корою, на этой коре в бессмысленном сочетании вытиснены обрывки чуждых понятий, стишки, басни, молитвы, «правила» из арифметики, «правила» из грамматики, и та особая, условная ложь, в которой принято писать «одобренные» книжки для народа, рассказывать для него историю, преподавать ему мораль. Язык болтает эти «клише», и так как болтает с благоговением и с трудом, то сам несчастный его хозяин привыкает уважать трудную бессмыслицу и презирать простое, пугаться оригинального. Говорят о предрассудках деревни, о невежественных ее нравах. Спору нет, думалось Наташе, предрассудки велики, нравы жестоки, но все это не так уже страшно, потому что неустойчиво. Те предрассудки и нравы, что могут воспитываться в плохой школе, куда опаснее, куда прочнее... И ей казалось большим счастьем, что плохие школы так много дают «рецидивистов», а особенно плохие из них, церковные вроде изле-

гощенской, с таким трудом влачат свое зло-
вредное существование.

На такие же мысли наводили Наташу «одобренные» учебники и «хрестоматии», и старые, и присланные ей в большом количестве из Москвы. Кроме превосходных «книжек для чтения» Л. Толстого и некоторых Тихомирова, да отчасти азбуки Бунакова, — материал едва достаточный для двух зим, — все остальное было непригодно до странности, до кощунства. Казалось, писали их сплошь чиновники, и писали либо благонамеренно, с небольшим оттенком лжи, но бездушным и варварским слогом газетных передовиц, либо с отвратительным привкусом сыска и патристического самохвальства, и тогда уже непременно безграмотно, растрепанными фразами, на скверной бумаге, с скверными рисунками. И те и другие авторы, очевидно, совершенно не знали, для кого пишут, хотя до тонкости знали, для чего... В том же роде были и народные книжки, если не считать только что появившихся изданий «Посредника» и непомерно дорогих Комитета грамотности.

— О, лучше, в тысячу раз лучше, — воскли-

цала Наташа, возражая несогласавшемуся с ней мужу, — чтобы народ оставался в своей дикой безграмотности, чем сразу сделаться грамотным дикарем... в стиле старой Москвы или той новой Франции, что в школах воюет с богом, внушает звериный патриотизм, мещанское понятие о собственности и о морали.

— Какая же школа тебе нужна?

— Свободная, миленький, и... живая.

— Попробуй, попробуй, а мы «будем посмотреть», как говорят русские немцы, — отшучивался Алексей Васильевич, — но только, дорогая моя, эта «дикая безграмотность» у меня вот где сидит! Побудь-ка денечка два в камере и полюбуйся.

— Не то, не то, Алеша... Право же, ты меня не хочешь понять. Ну, вот подожди, попробую.

И с обычной своей стремительностью она приступила к реформам. Оба старших отделения соединила в одно. О. Афанасий и Золотушкин преподавали там по два раза в неделю, — Золотушкин только арифметику, — все остальное время Наташа занималась сама вне всяких правил и законов. Отбросивши

всякие «хрестоматии», диктанты, дисциплины, зубрежки, она стала добиваться лишь прочного навыка в чтении и письме, а больше вела с ребятами разговоры, читала им что находилось хорошего под рукою, показывала туманные картины и иллюстрации, устраивала игры на школьном дворе. Беседы велись и в классе, и на дворе и обыкновенно начинались по какому-нибудь случайному поводу, но потом Наташа стала правильно чередовать их. В один день это было о земле и о небе, о тепле, о воздухе, о том, отчего происходит дождь и снег, о животных, о растениях, об устройстве человеческого тела. В другой — как возникло, разрослось и утвердилось русское царство, что такое волость, земство, суд, полиция, уездный и губернский город, сенат, синод, министры и для чего собирают подати. В третий день дело шло о том, как живут люди в чужих краях, какие у них города, церкви, деревни, порядки, обычаи и т. д. Такая «энциклопедия» и по необходимости была очень схематична и потому, что Наташа того и хотела. Для заполнения схем служили картины в волшебном фонаре, иллюстрации в «Ниве»,

биографические справки, яркие и характерные эпизоды... В будущем предполагалось делать физические опыты: Наташа хотя и выписала приборы, даже электрическую машинку, но орудовать с ними пока не решалась, — думала летом подготовиться как следует.

В праздники, по вечерам, в школу собиралось почти все Межуево слушать «чтения» и смотреть волшебный фонарь. Отец Афанасий с умилением в старчески дрожащем голосе читал особенно излюбленные «жития» — о Тихоне Задонском, об Алексии Божиим чело-веке, о Стефане Пермском, — или о «Страстях господних»; Наташа рассказывала без книжки «естественно-историческое», Золотушкин с важностью жреца действовал с фонарем. Было нестерпимо душно; чрез какие-нибудь полчаса от начала чтений воздух становился зловонным, кислым, прелым; не помогали открытые печные трубы, форточки, вентиляторы... Все равно, — иная, душевная атмосфера была так чиста и свежа, что Наташа, возвращаясь с головной болью на хутор, чувствовала себя счастливой и с бесконечной благодарностью смотрела на эти пустынные снега, на

черные избушки, потонувшие в сугробах, на всю эту глушь, и дичь, и бедность.

Так продолжалось и вторую зиму. Алексей Васильевич, далеко не находивший такого удовлетворения в своей камере, как Наташа в школе, начинал уже ревновать ее к этой школе и насмешливо говорить, что лучше бы ей совсем перебраться в Межуево. Но вдруг... Впрочем, для объяснения последующего необходимо прибавить о самом Струкове. В течение года его судейская деятельность, его манера вступать в пререкания с товарищами и с прокурором на съезде, и то, что он не играл в карты и не участвовал в коллегиальных попойках, по обычаю совершавшихся в городском клубе каждое 20-е число, и то наконец, что неаккуратно делал визиты, а его жена совсем не хотела знакомиться с помещиками, — все это вооружило против него многих влиятельных людей.

И так вдруг Наташа случайно узнала, что еще в конце прошлой зимы, великим постом, в Межуево приезжал какой-то «странный» человек, «вроде как офеня», останавливался у старосты, расспрашивал о «господах», об учи-

лице, о чтениях, о книжках, которые будто бы раздает «барыня». Этот же таинственный человек посетил Межуево и во вторую зиму, опять останавливался у старосты, опять расспрашивал и, как после узнали, поехал в Излегощи, где и заночевал у Юнусова. Затем стали ходить по деревне какие-то загадочные слухи — о земле, которою будто бы неправильно завладели Струковы, между тем как она должна бы поступить «в нарезку», о том, что об этом кто-то проведал, что не даром «незаконные господа всячески обольщают народ» и что «надо держать ухо остро»... Наташа понемногу стала замечать, что крестьяне не так смотрят на нее, не так говорят с нею, как прежде, и мужчины все в меньшем количестве приходят на чтения. Что-то неуловимое, но несомненно враждебное носилось в воздухе. Одно время Наташе пришла в голову довольно правдоподобная мысль, — это после того, как некоторые донесли ей о разговорах про землю, — что таинственный незнакомец, посетивший Межуево, был просто-напросто «пропагандист». Но, во-первых, о такой «пропаганде» давно уже не было слышно в тех ме-

стах, а во-вторых — зачем же ему ночевать у Юнусова? Вскоре догадки осложнились еще тем, что о. Афанасия потребовали к благочинному. Он не сказал Наташе, зачем именно потребовали, но с тех пор уже не удалялся из школы тотчас же после своего урока или после того, как прочитывал «житие», а оставался до отъезда Наташи и все слушал, о чем она рассказывала ученикам или народу, слушал с напряжением, с беспокойной улыбкой на своем добром и грустном лице.

— Что это вы так интересуетесь, отец Афанасий? — спросила однажды Наташа, которую все эти загадочности начинали приводить в необыкновенное раздражение.

Отец Афанасий сконфузился, некстати щегольнул латынью: «Ау рес хабент эть нон аудиент»[9], — но после этого не засмеялся, как обыкновенно, своим чистым, детским смехом, а торопливо простился и уехал. А на другой день Наташа получила от него умилившую ее, но не успокоившую записку: «Добрейшая наша и ретивейшая ко благо попечительница! Errare humanum est[10], — и старый дурень, в свою очередь, внял наветам,

ерго[11] — впал в заблуждение. Великодушно прости за сие суесловие, а я не нахал, и то, что слышал из ваших уст, добро и красно, и такожде направлено к просветлению темных умов, как учение Христа к просветлению сердцем омраченных. А больше сего ради господу не вопрошайте, ибо по воле начальства дан был обет молчания, а за Вас я отныне такой же ходатай и богомолец, как и всегда. Священник села Излегощей, Покровской церкви *Афанасий Ключарев*».

Один Золотушкин ничего не опасался и презрительно фыркал, когда псаломщик Иннокентий, — большой его друг теперь, — предупреждал его по секрету, что против школы нечто затевается.

— Чудак ты человек! — с гордостью говорил Золотушкин, с равными он объяснялся почти удобопонятно, да и вообще под влиянием Струковых стал отставать от высокопарного языка. — Чудак ты... Да знаешь ли сколько абсолютного дохода у Перелыгина? Какое у него знакомство? А Струков!.. Судья, брат. В золотой цепи... И в острог тебя может затяпать, и белей снегу оправить. Ха, ха, ха, да

они в порошок сотрут, ежели кто с ними не солидарен... стоит только старичишке в Питер смахать, к министрам. — И впадая в честолюбивые мечты, продолжал: — А я так имею в идеале, брат Кеша, медаль не медаль, но будет мне ужо награда. Где найдешь такую постановку, а? Карты, атласы, глобус, теллурий, анатомические пособия, физические пособия... Не видал вот эту еще штучку, намедни из Москвы прислали? Шестьдесят целковых, брат... Ха, ха, ха, вот выйдет эффект, ежели этак золотой какой-нибудь знак за усердие, за рациональную педагогику, на такой какой-нибудь голубой ленте, а? — Тут Золотушкин в порыве чувств колупал Иннокентия в бока и в живот, и оба с громогласным хохотом принимались возиться.

Но — увы! — тот же Золотушкин обомлел до совершенной утраты рассудка и малодушно предал Наташу, когда в ее отсутствие в школу неожиданно явился инспектор. Это был человек с брюшком, с свиными глазками, с бачками, похожими на расчесанную мочалку, с пряжкой за беспорочную службу. Вошедши в класс в фуражке и шубе и не обращая

никакого внимания на поклон Золотушкина, он по-фельдфебельски стал кричать на учеников, недружно поднявшихся навстречу, и растерявшегося сторожа, который не видал, как подъехала тройка, не отворил двери и не принял шубы. Потом грубо и бестолково стал вызывать ребят «к доске» и спрашивать, сопровождая сбивчивые ответы язвительной улыбкой и замечаниями: «А, тому-то вас учат!.. А, и этого не знаете!.. Так-с, похвально-с, бесподобно-с!.. Садись, болван!» Потом долго рылся в шкафах, фыркал, рычал, грозился на Золотушкина пальцем, отобрал десятка полтора изданий «Посредника» и забытый Наташею том Тургенева с «Записками охотника», приказал при себе налить масла в лампадки, обмести пыль с царского портрета. Потом проследовал в комнату учителя и пересмотрел его книги, причем, указуя на принадлежавший Струковым номер «Вестника Европы», на разрозненного Добролюбова, на томик Глеба Успенского, каким-то шипящим голосом вопрошал: «Эт-та что? Эт-та что? В нигилисты, в ссылку захотел?» Золотушкин с дрожанием в коленках, с выражением побитой со-

баки стоял перед ним и бормотал: «Это не я-с. Это все попечительница-с... Я человек маленький-с... Я протестовал-с... абсолютно-с...» В конце концов такое поведение тронуло ревизора.

— На первый раз я тебя извиняю, — сказал он, требуя ревизионную книгу, — но заруби на носу: посторонних в классы не допускать, будь она хоть распопечительница. Не гуманничать. Из программы не выходить. Чтений — никаких. Ребятишки перед начальством чтоб вскакивали: здоровья желаем, вашеество-о-о! Понимаешь, по-военному. Физические приборы и тому подобное сегодня же отослать госпоже Струковой — неуместно для мужиков. Лучше бы солдата наняли для гимнастики. Батьке скажи, чтобы не осмеливался взрослых собирать: чтения с туманными картинками разрешаются в установленном порядке и только религиозно-нравственные, без штук. Чуть что, сейчас же доноси мне... срамник, — особое ведомство дозналось, а твое непосредственное начальство ведать не ведает. — И с удивительной для своего чина безграмотностью нацарапал в ревизионной кни-

ге, что «в междуевском училище направление подозрительное по причине незаконного и неуместного вмешательства попечительницы, хотя же она и затрачивает некоторые средства на содержание онного», что он, имярек, статский советник и кавалер, такого-то числа февраля месяца «сие училище посетил и онное не одобрил». Дальше стояли три палочки и крючок, долженствовавшие обозначать фамилию статского советника, которая начиналась с буквы Т. Золотушкин, с благоговением изгибаясь, засыпал эти каракули песочком и обещал исполнить в точности приказ «его высокородия».

И исполнил в самом непродолжительном времени. Наташа в тот же вечер получила от него приборы и витиеватое письмо, в котором он уведомлял ее о ревизии и о том, что «желая быть вполне и всегда солидарным с распоряжениями своего непосредственного начальства, просит г-жу попечительницу в классы более не являться и вмешательства в рациональный ход преподавания, столь же неуместного, сколько незаконного, абсолютно не оказывать». Наташа даже заплакала от

злости. Напрасно Струков и бывший в то время на хуторе Петр Евсеич уговаривали ее успокоиться и до поры до времени оставить это дело, — Петр Евсеич уверял, что «тут вся штука — поехать в город и проиграть две красненьких в винт»... Она ничему не внимала и, приказавши подать лошадь, полетела в школу. Бедный Золотушкин не ожидал ее и растерялся. Никогда он не видал у своей попечительницы таких грозных глаз, такого гневного лица, не слышал от нее столь презрительных, колючих, жестоких слов. Это стоило инспекторской ревизии.

Но самое ужасное для Золотушкина случилось в конце распеkania, когда Наташа несколько остыла и потребовала, чтобы он показал ей ревизионную книгу. Прочитавши то, что там было написано, она с злою улыбкою обмакнула перо в чернильницу, провела густую черту под словами «онное не одобрил» и на том месте, где стояли три палочки с крючком, явственно подписала «Петр Зудотешин».

На следующий же день книга, старательно обернутая и запечатанная именной печатью

Золотушкина, вместе с его доношением была препровождена в город, а ровно через месяц, под пасху, Наташа получила официальную бумагу, в которой ее уведомляли, что в звании попечительницы начального Межуевского училища она более не состоит.

Сначала она не хотела уступить, собиралась бороться до конца и во всех инстанциях: так ей казалась дика мысль о «неблагонадежности» ее поступков, о том, что восторжествует «Зудотешин», а не она, отдававшая свои средства, свой труд, всю свою душу на развитие настоящего «народного просвещения», без всяких тенденций в ту или другую сторону. Но вскоре после пасхи иные мысли и иные ощущения ею овладели: она почувствовала, что беременна, и отчасти по настоянию мужа и отца махнула рукою на школу, думая заняться этим впоследствии.

Тут же надо сказать, что и впоследствии ей ничего не удалось сделать, если не считать того, что она продолжала выдавать добавочное содержание о. Афанасию, но отняла у Золотушкина и прекратила столовую после того, как узнала, что учитель завел двух боро-

вов, которых и откармливал в ущерб детским желудкам. За всем тем ребята выучивались «в пределах программы» и часть из них получала «свидетельства» на раззолоченной бумаге, а Золотушкин находился у «Зудотешина» на отличном счету... Потом тонкий слой ремесленной, «заученной» науки исчезал у ребят с невероятной быстротою в вечном недосуге трудного, беспросветного, почти проблематического существования, и те из них, что получили раззолоченную бумагу, через два-три года не могли разобрать, что в ней написано... «Квод де-мострандум эст!» — с пригорбной успешной говаривал о. Афанасий, изредка встречаясь с Наташей и излагая ей печальные результаты «зудотешинского» обучения. Но Наташе было уже тогда не до того...

Родился у Струковых мальчик, названный в честь деда Петром. «Смотри, Наташечка, да не будет он Петр Зудотешин», — хихикая говорил Перелыгин, вспоминая эпизод с реви-зионной книгой... И вот Наташа утешала себя тем, что для того, чтобы он действительно не оказался «Петром», ей необходимо быть хоро-

шей матерью, а не попечительницею школы. В жизни Струковых наступила новая полоса. В их доме возникло особое настроение, от которого тепло и отрадно было Алексею Васильевичу, все более и более тяготившемуся деятельностью судьи и вообще всем, что металось в глаза за стенами дома. Как восхитительно летели для него часы, когда в зимний непогожий вечер с веселым треском горели дрова в камине, мягко светила лампа, он просматривал дела, назначенные к очереди, Петр Евсеич читал, а молодая мать сидела около них о ребенком у груди и с таким умиротворенным и кротким лицом, как будто вполне осуществились бурные и неопределенные домогательства ее юности. Иногда между мужем и отцом завязывался спор, — не о России, как в Лондоне: Алексей Васильевич избегал теперь спорить о России, — а опять-таки о жизни, о морали, о судьбах человечества. И надо было видеть, с каким чувством спокойного превосходства Наташа слушала их, с какой лукавой и нежной улыбкой заглядывала в детские глазки, в молочном тумане которых уже начинало мелькать сознание... «Говори-

те, говорите, — казалось, думала она, — вот мы с Петрусем лучше знаем и о жизни и о морали!» А за стенами злилась вьюга, торжественно шумели деревья в роще.

Струков потому избегал спорить о России с Петром Евсеичем, что почти соглашался теперь с ним и не хотел обнаруживать этого при Наташе. Ее увлечение деревней, школой, чтениями радовало его и только изредка приводило в досаду тем, что расстраивало их домашний порядок, но радовало не за деревню и не за школу, а за жену, нашедшую то, о чем они вместе мечтали за границей. В своей камере, в своих наблюдениях, гораздо более широких, чем у Наташи, над «обществом и народом», он далеко не нашел того, о чем они вместе мечтали, но избегал говорить об этом при жене из какой-то смутной боязни. В глубине души ему казалось, что пропадут мечты и что-то оборвется между ним и Наташей и что лучше молчать...

А как трудно, как было мучительно думать и отчаиваться в одиночку!

Прежде всего мучило внутреннее раздвоение. Так, он давно уже составил себе убежде-

ние, что «праведность» и «преступность» определяются экономическими нормами и что чем более равновесия в этих нормах, тем решительнее упраздняется «преступность». Дальше он был убежден, что самое понятие «преступности» отнюдь не безусловно и только отражает собою ту имущественную структуру, которая господствует в данное время и в данном обществе. И так еще разительнее в нарушениях гражданского права... А между тем являлся кабатчик Юнусов с целым ворохом несомненно злодейских, но юридически правильных обязательств и на основании таких-то статей просил подвергнуть немедленному ограблению государственных крестьян села Излегощей. В голове судьи соблазнительно мелькала такого рода резолюция: «По указу... приговорил: мещанина Юнусова за мошенническое приспособление к законам и за превратные мысли о том, что якобы на то в море и щука, чтобы карась не дремал, и за умышленную пропаганду таковых превратных мыслей выселить из села Излегощей на остров Сахалин; расписки отобрать и сжечь; казенный участок, арендуемый Юнусовым,

передать крестьянам; открыть в селе дешевое кредитное учреждение; устроить школы с изъятием их от тлетворных наездов г. Зудотешина»... А на самом деле приходилось писать совсем другое, и хотя в «предварительном исполнении» отказывалось, но все же в установленный срок в Излегощи приезжал судебный пристав и производил законный разгром.

Потом купец Ржанов взыскивал за порубку в лесу, купец Шехобалов за покражу солонины из амбара, помещик Кульнев за «неотработки» и за потраву, — и было ясно как дважды два, что и в порубке, и в краже, и тем более в «неотработках» и потраве подсудимые кругом виноваты, и что надо их штрафовать, сажать в острог, подвергать неустойкам... Таких дел было слишком много, и нельзя достаточно выразить, как страдал от них Алексей Васильевич.

Правда, было и некоторое утешение. Недаром народ предпочитал «мирового» не только старой ябеде и волоките, но и своим волостным судам. Веяние духа, поколебавшее в эпоху реформ обомшелые твердыни крепостни-

чества, внесло и в сферу юстиции нечто от безусловной правды. Даже и по букве новых законов человек рассматривался как человек, а не как мужик Степка с одной стороны, а многоуважаемый землевладелец Степан Иванович с другой. Нужды нет, что в действительности последнему и теперь случалось колачивать первого по зубам, ругать как вздумается и вообще обременять обидами. По крайней мере, перед лицом закона «Степка» мог до некоторой степени восчувствовать свое человеческое естество и убедиться, что звание смерда не есть его прирожденное отличие. И Струков с особой последовательностью применял здесь свои полномочия — с особенным удовольствием приговаривал Юнусова под арест за избиение крестьянской бабы, купца Ржанова за расправу нагайкой с порубщиками и приказывал выводить из камеры помещика Кульнева, осмелившегося в его присутствии обругать непечатными словами своих неисправных рабочих.

В сущности, мировой суд был одним из тех «компромиссов», которыми, по убеждению Струкова, только и могло двигаться вперед

какое бы то ни было общежитие. Так... Но, во-первых, этот «компромисс» со дня на день обессиливался тою опалю, в которой находился, а во-вторых, то, что казалось благоразумным и благотельным со стороны, было почти нестерпимо при личном участии. Необходимо и хорошо есть мясо, думал Алексей Васильевич, и история Ирландии, конечно, не от того печальна, что там католичество, а от того, что ирландцы питаются картофелем; но противно убивать животное, и если нельзя не убивать самому, так не лучше ли совсем отказаться от мяса? Другими словами, он по-прежнему понимал, что не только нельзя, но было бы бедствием внезапно отменить тюрьмы, векселя, исполнительные листы, — всю эту жестокую арматуру действующего права; но, с другой стороны, ему становилось все больнее и противнее применять эту арматуру, несмотря даже на то, что иногда она применялась в защиту униженных и слабых.

И он все чаще подумывал об иных «компромиссах», более подходящих к его характеру и симпатиям, чем судейство, но подумывал уже не с прежней мечтательностью, а со-

мневаясь и робея... Дело в том, что русская жизнь, как она есть, раскрывалась перед ним совсем в ином порядке, нежели прежде, в Лондоне, сквозь призму книг, теорий, студенческих воспоминаний и — главное — сквозь призму любви к Наташе. Чем он пристальнее всматривался теперь в эту жизнь, — в камере, в Межуеве, в уезде, во всей России, — тем страшнее ему становилось... Он начинал прозревать. Уезжая за границу, он унес с собой такое впечатление, что вместо капризной весны с зарницами, заморозками и грозой в отечестве наступает лето, — страда, трезвая, сухая работа, — быть может, без иллюзий, но с серьезным содержанием, с деловым развитием тех «весенних» начал, что уже доказали историческую свою необходимость. И он радовался этому. Искренне сердился на угрюмых пророков; не мог читать Щедрина; разошелся с «крайними»; с удовольствием вспоминал, сколько оставил молодых, искренних, знающих людей, подобно ему утомленных зрелищем ужасов и бесплодным нервическим возбуждением, мечтающих о серьезной ученой карьере, о культурной деятельности в

провинции, о бескорыстной помощи всем начинаниям, направленным ко благу и долгоденствию отечества.

Но когда, в Z-м уезде, Алексей Васильевич прозрел, сердце его захолонуло. Дело было не в либерализме или консерватизме: с своей экономической точки зрения он продолжал относиться к этому довольно равнодушно; дело было и не в отсутствии начинаний: некоторые из них осуществлялись, и к ним действительно где-то в департаментах и комиссиях примкнули хорошие люди тех же убеждений, что и Струков... разумеется, в качестве весьма мелких сошек. Но незаметно совершилось неслыханное падение умственных интересов, какое-то эпидемическое помрачение совести, и с каждым днем в разговорах и в печати усиливалась постыдная игра словами и понятиями, которые так еще недавно, казалось, были святы. То, что прежде из страха перед общественным мнением могло произноситься и делаться лишь в опасливом уединении и разве где-нибудь на задворках, теперь с невероятным бахвальством лезло под образа и само заявляло себя общественным мнени-

ем. Точно видение Иезекиила сбывалось в действительности. Подымались мертвые кости, стягивались жилами, обрастали мясом и за неимением пророка, который вложил бы в их уста нечто здравосмысленное, начинали бормотать кладбищенские речи, суесловить о святости кровопролитий и ежовых рукавиц, об идиллии крепостного права, о провиденциальном различии белой и черной кости. И что было самое страшное, так это то, что повсюду зашевелились гады, казалось, еще вчера превращенные хотя и в посредственных, но в порядочных людей. Всякий кадык, что шесть-семь лет тому назад извивался ужом, будто бы пламеня в огне гражданских чувств, и в излишние разговоры не вдавался, смиренно ссылаясь на свое круглое невежество, теперь высокомерно поднимал нос, объявлял себя знатоком стезей, по которым будто бы надлежит идти отечеству. И как же он фыркал, этот кадык, как презрительно оттопыривал губы, когда при нем упоминали о вчерашнем его усердии, об азбуке, которую он, казалось, так затвердил, о том, что есть на свете истина, которую можно попирать нога-

ми, но нельзя погасить.

Встречал Струков людей и не забывших «азбуки»... Иные из них покорно, как водовозные клячи, надрывались в той запряжке, которую наложила на них служба, семья, профессия, а в виде «освежения» винтили, выпивали, сплетничали и тихо, точно подмоченный порох, шипели, когда уж слишком зло-радствовал какой-нибудь кадык. Иные с усталым и брезгливым видом отворачивались от торжествующей скверны, но в то же время и от прошлого и, смотря по темпераменту, либо предавались науке, «которую воспел Навон», либо занимались искусствами, спортом, хозяйством. Иные наконец с усердием налетали на воздержание, вникали в метафизику, пытались иногда пахать... Все были бессильны и бесполезны.

На лето приезжала молодежь из университетских городов. В противоположность некоторым утверждениям Струков находил в ней много хорошего, — много даже лучшего, против прежней. Однако как ее было мало и из какой невлиятельной среды она происходила! На весь уезд из потомственных дворян, да

и то из захудалых, было только два студента, остальные шесть-семь человек принадлежали к разночинцам. Очевидно, этой молодой поросли так же не предвиделось места, как и той, что в большинстве была затоптана скотом или заглушена чертополохом, потому что воистину оказывались правы восставшие мертвецы, что наука ни к чему, а надо лишь повиноваться... Кому повиноваться? Конечно, тем, которые без наук все науки постигли.

И отовсюду, точно осенний туман, подымалась убийственная, вопиющая, дремучая скука.

Всего курьезнее, что и торжествующим было скучно. Вдосталь налаявшись в каком-нибудь публичном месте на «пресловутые четверть века» и насмердевши проектами, где не разберешь, чего больше: армейской наглости или младенческого невежества, они возвращались в свои берлоги с таким ощущением, как будто объелись кислого, и лениво вращали мозгами, обдумывая, за что бы приняться. Но за что? В винт? Не всегда есть партнеры; с борзыми собаками? Давно исчезли борзые собаки; за хозяйство? Имеется отставной ун-

тер-офицер из числа постигших все науки, да и все равно пойдет с молотка, коли не выйдет новой отсрочки лет на сто... Эх, шельмовство, в столицы, в Париж бы удрать, к подобострастным союзникам, в какойнибудь этакый Moulin Rouge! Да поди-ка, удери, когда старые реформы ограбили и разорили благородного человека, а новые все еще недостаточны, чтобы восстановить его в полной красе... Ах, какая тоска!

Народ! Вот еще слово, к которому Струков с юности привык обращаться в часы уныния и малодушной тоски. Еще на гимназической скамье статьи Добролюбова о повестях Марко Вовчка зажигали его сердце, и какие он давал клятвы любить народ, служить ему, болеть его горем, радоваться успехами. С течением времени многое в его взглядах подверглось колебаниям, иное и совсем изменилось, лишь обаяние народа не исчезло. Что такое было в этом обаянии? Потребность ли веры? Потребность ли жертвы, любви, почвы под ногами? Или влекущая к себе таинственность, что-то неизвестное, какая-то даль и ширь, что зовет и дразнит возможностями,

намеками, проблесками?.. Кто знает, но во всяком случае здесь не было и тени настоящего, этнографического народа. Мужики Слепцова и Николая Успенского признавались — конечно, как не отрицался и тот живой мужик, с которым изредка приходилось встречаться в действительности. Известно было и то, что этот живой мужик куда как предательски поступал с самоотверженными людьми, приходившими к нему на службу... Все равно! Важность была не в грубой действительности, а в ее предполагаемом содержании, в ее разумной красоте, случайно облеченной в заскорузлую, историческую скорлупу, — в том, «что сквозит и тайно светит в наготе ее смиренной», — как сказал Тютчев. Это было своего рода «мессианство», может быть, и несостоятельное, если его рассматривать как практическую политику, но дававшее цель великодушным стремлением, смысл — мечтам, утешение — жертвам.

И вот Алексей Васильевич всматривался в своего загадочного незнакомца. Конечно, он понимал, что в качестве помещика, да еще судьи, возможно наблюдать только с берега.

Немного помогло в этом отношении и то, что Наташа сближалась с крестьянами легче и проще, нежели он... Но и то, что было видно с берега, поразило его в самое сердце. Правда, в содержании «скорлупы» он не разуверился, отнюдь не пришел к тому самоубийственному выводу, что там один лишь «гнилой орех». Межуевская школа слишком доказала, что не «гнилой»; но он совершенно лишился уверенности, что здоровое ядро уцелеет, ибо грозные признаки разложения били в глаза, а противодействия им не было ниоткуда. И особенно страшны были два признака: имущественное разорение, — из года в год возрастающий дефицит в крестьянском бюджете, погашаемый сокращением потребностей, — а отсюда физическое вырождение типа и какая-то душевная дряблость, нескладица, растерянность, — то самое, что, вероятно, было в смутное время на Руси, когда старый идеал порядка исчез, а новый еще не являлся на смену. Положим, так и сам Струков читал и слышал, будто бы происходит рост сознательности, какое-то движение религиозной мысли, какие-то светлые почины в борьбе с оскудевающей природой

(«Клевер сеют!», «Агрономов слушаются!», «Плужки и сортировки покупают!») и что будто бы земская школа в свою очередь сделала много хорошего. Но, во-первых, он этого не видел, а во-вторых, он этому не верил, хотя и признавал, что там и сям могли быть исключения... до первого наезда г. Зудотешина.

Он этому потому еще не верил, что на досуге подсчитал, сколько бы потребовало денег одно Межуево, чтобы получить настоящие, а не поддельные способы для «роста сознательности», для «борьбы с природой», для того, чтобы не вырождаться. Цифра, помноженная на одну только Европейскую Россию, равнялась бюджету военного министерства... Что-то было не слышно о таких ассигновках. Но что же делать? Что же делать?

И мало-помалу он привыкал не додумывать, скользить по поверхности, судить о вещах, как судит порядочная газета, то есть благонамеренно и честно, но ввиду «независящих обстоятельств» скучно и с обиняками. Амглистая туча мелочей, обывательских привычек, прозы все надвигалась да надвигалась на него, застилая горизонты и перспективу.

Он, например, отлично видел, что в замене Олимпия практикантом из саратовской школы, в устройстве дешевой лавки, в складах земледельческих орудий, в перелыгинских деньгах, раздаваемых взаймы, в том наконец, что при первых выборах он, благодаря крестьянским голосам, прошел в гласные, — что во всем этом мало толку. Он отлично видел, что крестьянам не на чем подражать практиканту, не на что покупать в дешевой лавке, нечем отдавать взятые взаймы деньги, а в земстве та же стихийная светобоязнь и фраза, как и везде, и что для того, чтобы все изменилось, требуются временные перемены, в том числе и в образе его собственной жизни. Но тем не менее подробности этих дел, хлопоты, заботы, речи в земском собрании, самолюбивое ощущение власти и инициативы и, главное — то, что в «порядочном» обществе принято думать, будто бы эти дела очень хороши и очень полезны даже по одному заглавию, — все это понемногу успокаивало Струкова, вносило в его душу сначала притворное, а потом и настоящее равновесие.

Такое же равновесие появилось и в его

чувстве к Наташе. Оно не уменьшилось, это чувство, но незаметно утратило свою поэтическую окраску, свой характер новизны и мятежной влюбленности, превратилось в глубокую, спокойную привычку. Редко-редко в его душу закрадывалось прежнее беспокойство... То в лице жены замечал он что-то неуловимое, следы какого-то тоскливого и одинокого душевного процесса; то в ее словах чудилась ему какая-то враждебная холодность, как некогда в Париже; то наступала полоса мелочной раздражительности, пустяков, упреков, чего-то похожего на физическое отвращение друг к другу, и ему становилось скверно и до слез делалось жаль самого себя... Но, во-первых, недосуг было раздумывать о таких тонкостях, и он обыкновенно мирился на том, что значит и брак «не храм, а мастерская», как сказал Базаров о природе, а во-вторых, — это когда было особенно скверно, — он вспоминал стихи Некрасова: «Кто виноват у судьбы не допросишься, да и не все ли равно?»

Так шли годы.

— Может, оттого мне и вера не дается, что я, ежели не считать Ла-Манша, зыби морской не видывал, — сказал однажды Петр Евсеич с обычным своим смешком.

— При чем же тут зыбь? — спросил Струков.

— «Кто в море не бывал, тот богу не маливался», — говорит пословица.

— А, вот вы о какой вере! — насмешливо протянул Алексей Васильевич и, засвистав, вышел из комнаты.

— Нет, Петр Евсеич, не так, — сказала Наташа, — тот не маливался, кто не отчаивался за жизнь своего ребенка.

Старик хотел возразить веселеньким кощунством, но взглянул на серьезное лицо дочери и только пробормотал вполголоса:

— Окончательно выше моего понимания!

Такой разговор случился года четыре спустя после рождения Петруся. В эти годы у Наташи еще родился мальчик — его называли в честь отца Алексеем, — и как-то сделалось так, что она значительно остыла к деревне, к

крестьянам, к общественной деятельности мужа. Постоянный страх за детей, какая-то мучительная любовь к ним все заслонила в ее глазах. Она вечно тревожилась, вечно подозревала заразу, и теперь в застольной жаловались на ее «огневый характер» далеко не с прежним добродушием. Увольнялась кухарка за то, что у нее вдруг захрипел голос; рассчитывалась нянюшка — обнаружилась какая-то сыпь на руке; отсылался домой подпасок, потому что заболело горло, кучер — потому что ходит из Излегощей жена и может занести свирепствовавшие там бациллы. Правда, всем этим жертвам преувеличенной подозрительности выдавались щедрые награды, тем не менее Наташа быстро приобретала репутацию «шальной барыни». Теперь деревенский народ не только не принимался в доме и не сажался за один стол, но даже когда появлялся в усадьбе, возбуждал беспокойство Наташи. Алексей Васильевич, возвращаясь из камеры, должен был менять платье и мыться, точно доктор после визитов к заразным больным. Письмоводитель почти не допускался на глаза, — он вместе с агрономом и с Олим-

нием, переименованным в ключники, жил в особом флигеле... И именно этот письмоводитель, обозленный таким отчуждением, аккуратно доносил Наташе, что в Межуеве корь, в Излегощах скарлатина и там-то дифтерит, дизентерия, оспа и дети мрут как мухи, а потом распускал слух, что Струкова помешалась на бактериях и микробах и что ее вот-вот повежут лечить в Париж, к Шарко. Иногда Наташа и сама сознавала, что это похоже на сумасшествие, и пыталась уйти во что-нибудь постороннее, ходила на судебные разбирательства в камеру, посещала земское собрание, бралась за серьезную книгу, — однажды совершила даже подвиг: съездила с мужем в его Куриловку, а оттуда в Москву, причем Петр Евсеич провожал их до Х... Однако оттого ли, что она не находила в этом удовлетворения и все ей казалось самодовлеющим толчением воды, — особенно московские просвещенные разговоры, театры, выставки и концерты, — или просто оттого, что не могла справиться с обостренным инстинктом материнства, но в конце концов интересы детской, страхи, подозрительность овладевали ею с новой силой.

И опять появлялся на сцену ненавистный Алексею Васильевичу В. Жук, а какой-нибудь только что полученный «Сорель» оставался раскрытым на десятой странице; и опять возникала бесконечная возня с детьми — с их «животиками», «зубками», «развитием», взвешиванием через каждую неделю, гигиеническим кормлением, купаньем, похожим на священнодействие, со внесением их лепета и всех других «психологических и физиологических» данных в особый дневник; опять на хуторе устанавливался беспощадный карантин и новая няня, лучше других умевшая подладиться к барыне, неукоснительно докладывала, какие болезни ходят в окрестности и о подозрительных происшествиях на хуторе.

Зимний вечер. Самовар уже давно, стоит на столе и сначала шумел, потом затих. Алексей Васильевич перелистывает новую книжку по политической экономии, дожидается чаю, нетерпеливо прислушивается. Из детской слышен плеск воды и рев двухлетнего Алеши, слышно, как гремит ванна, слышны озабоченные голоса Наташи, няни, горничной, картавый разговор Петруся. Мало-пома-

лу все умолкает; в дверях, в небрежно накинутом и кое-где забрызганном капоте, с покрасневшимся лицом появляется Наташа.

— Послушай, милая, ведь эдак не мудрено и одичать, — говорит Струков, исподлобья взглядывая на жену.

— А тебе когда-то казалось счастьем, что у нас дети, — равнодушно отвечает Наташа, одною рукою наливая чай, другою разворачивая книжку Жука. — И потом, отчего ты не попросил Гертруду Афанасьевну!

— Дело не в чае, но я никак не ожидал, во что обратится эта идиллия.

— Во что же?

— В застенок.

— Ну да, вы, мужчины, только и любите цветочки.

— Помилуй, матушка, это уже ягодки. У нас совершенно одиночное заключение. Слова не с кем сказать. Намедни в городе назывались Яковлевы, Стижинские и прекрасный человек — новый следователь, но я, краснея, должен был отклонить, — нельзя же заставить их переодеваться.

— Мало ли говорили на своем веку. Дел-то

ВОТ ЧТО-ТО НЕ ВИДНО.

— То есть как не видно. Значит, я, по-твоему, дармоед?

— Оттого мне и хочется иначе воспитать детей, чем нас воспитывали. А до тех пор сохранить живыми и здоровыми.

— Ну да, значит — я дармоед! Что же ты скажешь, когда я подам в отставку и перестану получать жалованье? А я на днях подам.

— Отлично сделаешь.

— Оттого, что будет меньше риска насчет заразы?

— Нет, оттого, что тебе самому противно, ты это давно говорил.

— Но тогда я буду уж совсем жить на твой счет: Куриловка ведь дает гроши.

— Ах, создатель мой, а еще марксистом себя называешь! Я-то на чей счет живу?

— В таком случае, какое же у тебя оправдание? Как ты расходуешь эти чужие средства?

— Ты ведь их расходуешь. Твоя лавка, твой склад, твои ссуды...

— А! Значит ты оправдываешь себя тем, что откупаешься деньгами? Без труда? Без личного участия?

— Ничем я не оправдываюсь. Давай от всего откажемся, если хочешь, я согласна.

— Это, конечно, легче всего! Но на какие же деньги нанимать няnek, прачек, горничных, устраивать строгую изоляцию, содержать весь этот гигиенический институт и карантин для нашего потомства? Вспомни, у Лельки зубы прорезались, три раза выписывался доктор из Самары, итого двести двадцать пять рублей... Годовой бюджет хорошего крестьянского двора!

— Хорошо, это мой грех! — вспыхнув, ответила Наташа. — А ты?.. Зачем мы держим коляску, лошадей, кучера, выписываем вино, сигары, закуски? Сколько стоит каждая твоя поездка в город? Сколько мы проездили в Москву?

— Та, та, та, не забывай, что в городе я член десяти обществ, что я вношу стипендии за двух фельдшериц...

— Откупаешься деньгами?

— Нет, ты не имеешь права так говорить. Во-первых, я сознательно даю деньги, — заметь, сознательно! — то есть интересуюсь тем, на что даю. Во-вторых, я сам, лично, что-

нибудь да делаю, не ухожу в зоологию.

— Да, тебя хвалят в газетах.

— Ну, если ты хочешь во что бы то ни стало язвить — я замолчу.

— Вовсе не язвить, миленький, прости, пожалуйста. Я тоже уважаю твою деятельность, но что же делать, если не могу, как ты. Ну, замкнулась моя душа после того, как меня выгнали из школы, — что же мне делать? Я без ощущения свободы и если не вижу результатов — дура дурой.

— Свободно только вороны летают. Да и то в условиях времени и пространства. Сколько мы об этом переговаривали в свое время! И ты соглашалась тогда. Но не об этом я теперь говорю... Отчего ты ничем не интересуешься, отчего не читаешь?

— То есть как же это ничем и ничего?

— Я говорю — кроме пеленок и тому подобного. Я говорю о журналах, о газетах, о новых книгах, — о принципиальных вопросах.

— Зачем?

— Да хотя бы затем, чтобы со временем детям передать.

— О, для этого я достаточно интересова-

лась, видела и читала.

— Однако в Москве, в среде действительно просвещенных людей тебе было и скучно, и неловко... за твое невежество, Наташа.

— Вот уж вздор. Скучно — да, потому что я терпеть не могу машинных разговоров, когда говорят лишь затем, что принято вертеть языком, когда сойдутся; но чтобы было неловко, — нет: тогда мне было бы неловко не знать высшей математики.

— Вот на! При чем же тут высшая математика?

— При том, что твои просвещенные люди знают только большее количество книжек и фактов. Ну, им и надо... для их специальности.

— А для твоей специальности — Жук и пеленки?

— А мне не надо, потому что я не читаю лекций, не пишу книг, не издаю журналов.

— Боже, до чего ты договорилась! Но ведь лекции слушает кто-нибудь, журналы и книги читает кто-нибудь? Для чего же, по-твоему, их слушают и читают?

— Если не для того, чтобы проводить в

жизнь, — ей-богу, Алеша, не знаю для чего. По дурной привычке, я думаю.

— Ну, ладно, согласимся. Тогда и ты читай и проводи в жизнь.

Наташа с улыбкой показала на свою книгу.

— Вот видишь, — сказала она, — я так и делаю. А то, что ты читаешь сейчас, это может быть и очень занятно, но ни к чему, миленький... Проводить в жизни этого нельзя.

— Значит, бескорыстную работу мысли ты и нужной не считаешь?

— Бесплодную? Нет, не считаю нужной.

— И художественное наслаждение ни к чему?

— А это уж и вовсе без книг доступно.

— Ну, поздравляю тебя: ты на точке зрения Мокия Кифыча!

— Вот ты так действительно хочешь меня уязвить. Разве я отрицаю все это? Я только говорю, нам-то, нам-то это не нужно, — всем, которые не у дел и принуждены вариться в своем собственном соку, и бессильны, и лишние... Где-нибудь на Западе, — я не спорю. Там если горят дрова и накапливается пар, так сейчас же двигаются поршни, рычаги, колеса... А

у нас — пшик и больше ничего.

— Отражение мыслей вашего почтенного папаша. Когда-то ты опровергала их.

— Не сердись, пожалуйста. Лучше перестанем говорить. Когда-то опровергала, теперь соглашаюсь, вот и все.

— Чем же, позвольте вас спросить, двигалось русское общество, если «пшик» и больше ничего?

— Неволею и... жертвами, Алеша.

— Ну, уж это для меня абракадабра!

— Как хочешь.

— Да ты хоть растолкуй, пожалуйста.

— Ах, оставь, миленький, этот свой тон, не совсем же я дура. Будь Россия без материальных сношений с Западом — без торговли, без финансовых сделок, без войны, — поверь, никуда бы она не двигалась. Книжки бы умные читали, лекции слушали, искусства насаждали, а крепостные оставались бы крепостными и Шемякин суд — Шемякиным судом.

— Ого! Это уже отражение моих мыслей, не Петра Евсеича!

— Все равно. Я хочу только сказать, что там горнило, — не у нас; что у нас жизнь

определяется пока стихийными, грубыми, механическими интересами; что сила сознания у нас еще ничто... Одним словом — нам остается только дожидаться. Этим и занималась российская интеллигенция со времен Екатерины. Этим же занимаемся и мы.

— А в ожидании что надо, по-твоему, делать?

— Воспитывать как следует детей.

— И больше ничего?

— Учиться жертвовать.

— Чем же это, позволь тебя спросить?

— Всем, Алеша. Положением, состоянием, привычками, личным счастьем... жизнью наконец.

— Но этому и учит образование и литература. Ты их отвергаешь.

— Этому учит Христос и наша человеческая природа.

— Ну, ты, кажется, с усердием прочитала литографические тетрадки, что мы привезли с собою из Москвы...

— Да, я их прочитала... Но, миленький мой, чему до сих пор научило нас наше образование? Чем мы с тобой пожертвовали? Как

воспитываем нашу волю? Ты скажешь о грошовой помощи, о культурных затеях... Но это лишь развлечение, отвод глаз, как говорит отец. На нас цыкнули, и мы торопливо спрятались, цыкнут еще — спрячемся глубже в нашу комфортабельную нору... Пусть так, и я никуда не гожусь, но я гожусь быть матерью... Зачем же ты вечно иронизируешь надо мной? Я согласна — я слишком люблю детей... может быть, и действительно до безумия. Но, создатель мой, что же у меня остается? Ты укажешь на Яковлевых, на Стишинских... Хорошие они люди, но пойми, я-то не могу так. Скажи ты мне броситься в огонь — я пойду; но идти где чадят гнилушки, где ежели и вспыхнет огонек, так его сейчас же зальют те самые, которые зажгли, и зальют не дожидаясь казенной команды, о, какая тоска!

— Ну да, конечно... либо героизм, либо пенки... — пробормотал Алексей Васильевич и с глубоким вздохом взялся за книгу...

В сущности, его подмывало еще поспорить с женою и, главное, — доказать, что он вовсе не развлекается своей деятельностью, а смотрит на нее как на осуществление долга, но го-

лос Наташи начинал вздрагивать от подступающих слез, над ее левой бровью что-то нервно трепетало — признак нехороший с некоторых пор, — и Алексей Васильевич предпочел притвориться, что очень занят книгой. А когда Наташа немного погодя ушла, в свою очередь, удалился во флигель играть с практикантом в шахматы и слушать великолепные с аттической солью анекдоты писмоводителя.

Время Струкова располагалось довольно однообразно. Особенно зимою. Два раза в неделю он судил. По вечерам толковал с агрономом и Олимпиаем о текущих делах фермы, лавки, склада. Иногда выслушивал и по возможности удовлетворял просьбы крестьян о ссудах... По правде сказать, удовлетворял с возраставшим неудовольствием. Напрасно он добивался, чтобы деревня смотрела на усадьбу, как смотрят деловые люди на кредитное учреждение, а на него как на кассира; мужики упорно смотрели на усадьбу, как на богадельню, на него — как на «добротного барина», на ссуды — как на «милость», и выпрашивали их с низкими поклонами, с притворными

вздохами, с страдальческими лицами, даже с коленопреклонением и слезами. Отказывать Струков не мог; не умел также входить в хозяйственное положение просителей, невольно полагаясь в этом на агронома, на Олимпия, на кучера Илью, на скотника Ивана, и внутренне бесился на себя: за то, что «принципы» мешали ему быть построже и пощупее, на мужиков — за их лганье и лицемерное раболепство, за то, что они не понимают разницы между кредитом и милостыней и склонны предпочитать последнюю. Нельзя было утешаться даже тем, что это в них говорит пренебрежение к собственности, не основанной на «трудовом начале»: в той же деревне считалось нормальным, что Юнусов дерет за ссуды сто и более процентов, и Юнусову платили — хлебом, работой, деньгами, а «доброму барину» либо ничего не платили, либо с великими затяжками и лукавством. Правда, Юнусов реял как ястреб над своими должниками, знал до последней ниточки их хозяйственные и психологические ресурсы; Алексей же Васильевич ничего этого не знал, а руководился случайными сведениями, нервами

и теорией целесообразности; но оттого, что он понимал жизнеспособность юнусовского разбоя и чувствовал искусственность своих отношений к деревне, ему становилось еще досаднее. Впрочем, он хранил это про себя, и глубоко, и, конечно, искренне бы возмутился, если бы кто-нибудь громко выговорил его же тайную мысль о деревенской его деятельности... Но никто не выговаривал; для всех было очевидно, что дешевый кредит — благо и самое лучшее средство в борьбе с кулачеством и что «известный земец Струков» доказал это блистательно в какие-нибудь три-четыре года.

Раз в месяц Алексей Васильевич ездил по службе в уездный город, а оттуда обыкновенно в губернский, где «освежал» себя театром, заседаниями в разных обществах, разговорами о принципах и о последних политических и литературных новостях, — где завелось у него знакомство с местной интеллигенцией, где хлопали его речам на земском собрании и восхищались его деятельностью, и отбирали от него авторитетные свидетельства о деревне, и писали о нем корреспонденции — руга-

тельные в консервативных газетах, хвалебные в либеральных. Затем остальное время, на хуторе, уходило у него на сон, на еду, — кухарка у Струковых была ради частых посещений Петра Евсеича превосходная, — на чтение, на игру в шахматы, на музыку с помощью механического тапера, на особое наслаждение от рассказов писемоводителя и просто на пищеварение с хорошей сигарою в зубах. Прогулки по окрестностям теперь не совершались даже и летом, исключая тех, что предпринимала Наташа для здоровья и развлечения детей и в которых Струков участвовал скучая. Увы, он не испытывал больше поэтических впечатлений от окрестностей... Леса, поля, степи, могущественный разлив Волги, музыкальный рокот ручья в овраге, вечерний звон, разносящийся с желтой излегощи-некой колокольни, — все это сделалось слишком привычным для него, а он был из таких любителей природы, которым надо что-нибудь особенное, редкое, бросающееся в глаза новизною или чрезвычайностью; к тому же эстетическое чувство вспыхивало и погасало в нем пароксизмами, в зависимости от на-

строения, от бессознательного кипения крови, от мыслей, слагавшихся в голове. Как это ни странно, но ему, например, отравляло окрестную природу и то обстоятельство, что леса, видные на горизонте, принадлежали жестокому купцу Ржанову, что поля и степи — Шехобалова, Кульнева, Юнусова, что красивые издали крестьянские нивы — это те самые, на которых хлеб с каждым годом хуже и сорнее, несмотря на пример образцовой фермы, что наконец в тени стройной излегощинской колокольни безнаказанно совершает зловерный путь свой о. Дамиан Крестовоздвиженский... Но самое главное опять-таки было в том, что обесцветилась любовь его к жене, исчезло лирическое воодушевление, поникли крылья замыслов и мечтаний, а кипящая по временам кровь погашалась на законном основании и без всяких иллюзий.

Несмотря на все предосторожности, над домом Струковых нависла беда: старший мальчик заболел скарлатиной. Случилось это ранней весной, в самое половодье, когда посылать за доктором не было никакой возможности. И потянулись для Наташи мучитель-

ные дни и поистине бесконечные ночи у постели разметавшегося в жару Петруся. Алексей Васильевич как-то не верил в опасность болезни и сначала злился на жену, потом страдал за нее невыносимо. С таким выражением, точно была в лунатизме, нечесаная, в измятом капоте, она входила в его комнату, прилегалась на диван... но через полчаса вскакивала и, не обращая ни малейшего внимания на его мольбы, опять уходила к больному. В глухую полночь Алексей Васильевич беззвучно отворял детскую и смотрел, не смея войти, не решаясь вымолвить слова. Наташа сидела у кровати как изваяние с своими тонкими руками, бессильно брошенными на колени, с зеленовато-бледным лицом, с безумно блестящим взглядом, устремленным на потемневший лик Спаса старинного строгановского письма... А кругом было так страшно тихо, тускло мерцала свеча, заслоненная абажуром, однообразно стучали часы... и уторопленное дыхание доносилось из кровати.

Зато после этих ужасных ночей и почти истерической радости, когда опасность миновала, Наташа сама слегла недели на две, а ко-

гда поднялась, стала относиться к детям гораздо спокойнее — на посторонний взгляд охладела к ним, — даже не сейчас рассчитала няню, изобличенную в том, что во время говенья она останавливалась в зараженном доме излегощинской просвирни и скрыла это от барыни. К тому же другие опасения овладели Наташей: начал подозрительно прихварывать Петр Евсеич. Еще до того в нем можно было заметить перемену. Мало-помалу он забросил свои коллекции, свиной завод, лошадей, фотографический аппарат, вывезенный из-за границы. Завел было рациональное пчеловодство, потом токарный станок. Последнее лето пристрастился к архитектуре и стал перестраивать Апраксино, причем, где только мог, нарушал отчего-то опостылевшую ему симметрию. А тем временем желтел, худел, жаловался на боли «под ложечкой», чаще задумывался и раздражался, яснее обнаруживал затаенную неприязнь к Алексею Васильевичу и какую-то жалостливую нежность к дочери.

Наташа обратила на все это внимание и страшно обеспокоилась, когда Петр Евсеич

вдруг заявил ей, что хочет писать завещание. Положим, вскоре ей показалось, что и завещание — одна из забав... Петр Евсеич с необыкновенным увлечением приступал к этому делу. Рылся в законах, составлял инвентари и каталоги, советовался с юристами, — кроме Струкова, — беспрестанно присылал на хутор за Наташей, писал и переписывал документ. То он хотел продать Апраксино и деньги разослать в высшие учебные заведения для стипендий, а особый капитал в бумагах передать дочери. То — наоборот — дочери и внукам оставить Апраксино, капитал же «повертнуть» на стипендии. А временами решал, что стипендий совсем не надо — «не для чего разводить чиновников!» — и набрасывал в проекте такие пункты, что приглашенный адвокат помирал со смеху, восклицая: «Незаконно, батюшка Петр Евсеич, ей-же-ей незаконно! Наверное не утвердят, да еще заподозрят в вас тово...» — и он постукивал себя по лбу. В одном из таких пунктов назначалось двадцать пять тысяч общине молодых людей, которые согласились бы поселиться в Америке и пренебрегли бы институтами брака, суда

и личной собственности; в другом — поручалось Российской академии наук увенчать в 1925 году десяти тысячной с процентами премией наилучшее доказательство тщеты бессмертия и одновременно наилучшее сочинение о «восстановлении благодати в вероисповеданиях, отвергающих священство»; в третьем пункте на особые деньги устанавливалось какое-то странное и темное общество «высокомеров», — завещатель, впрочем, обещал оставить подробный устав, в котором требовалось бы от членов общества неограниченная свобода действий, чувствований и промыслений, «невзирая на предрассудки и лишь бы не причинять страданий ближнему»... Но помимо таких фантастических назначений беспрестанно возникали и тоже решались разнообразные вопросы о коллекциях, о библиотеке, о награждении служащих, о доме в Х., из которого предполагалось устроить то аудиторию для народных чтений, то богадельню для старообрядцев Спасова согласия.

Во время всей этой суеты Струков испытывал отвратительнейшее состояние духа. Его

оскорбляло, что старик ни разу не посоветовался с ним, что жена и дети будут так непомерно богаты, а он, отказавшись от должности судьи, мог вносить в семейный бюджет только гроши с Куриловки, что наконец Петр Евсеич решительно отказывался подарить часть земли апраксинским крестьянам, хотя по настоянию Струкова Наташа и говорила ему об этом.

— Как же ты не втолкуешь папеньке, что это почти воровство? — с раздражением говорил Алексей Васильевич жене.

— Он сказал — если оставить крестьянам, земля все равно очутится у кулаков либо будет систематически пропиваться, как теперь пропиваются отрезки, — отвечала Наташа с наружным спокойствием, но с нервной дрожью над бровью.

— Это вздор, положим. Но тогда пусть обеспечит школу, ссудосберегательное товарищество... мало ли что!

— К школе, говорит, немедленно присосется какой-нибудь отец Демьян, к товариществу — Юнусов с братией.

— Земству можно завещать.

— Ты знаешь, как он смотрит на земство. Я говорила. Он ответил: «Полезное возможно совершать не голыми деньгами, а в соединении с живой и свободной силой». Такой силы ни у крестьян, ни у земства не видит.

— Ну, конечно, лучше отдать дочке и внукам! Однако не боится оставить голые деньги или — все равно — дом... раскольникам?

— Там эта сила есть. Впрочем, прошу тебя, оставим. Ты сердишься...

— Прежде тебе нравилось, когда я сердился. Я ведь из памятливых, не забуду разговора в Кью-Гардене...

— Не так, Алексей Васильевич, ты не так сердился прежде. И мало ли что нравилось... А главное — мне ужасно больно предполагать близкую смерть отца. И ты знаешь это.

И они расходились, — Струков еще более оскорбленный, Наташа — с возрастающей тоскою в душе, с сомнениями в том, одна ли только забава это завещание.

— Послушай, Петр Евсеич, — сказала она отцу на другой день в Апраксине, — я знаю, ты не веришь в медицину, но прошу тебя, пригласи доктора.

— Не московского ли волхва-с? — шутливо ответил старик. — Так он сдерет тысячи три, да еще натопаёт на меня. Эх, Наташечка, сбили тебя с толку твои ребятишки!.. И какая ты сделалась плакса... (У Наташи действительно выступили слезы.) Ну помру, ну зареют, ну лопух вырастет, — что же из того? Окончательно выше моего понимания! Да я и не болен, спроси у горничной Поликсены... ги, ги, ги!

— Но как же не болен? Желтеешь, похудел...

— Матушка моя, шестьдесят скоро стукнет. Барабан и тот изнашивается, как же не изнашиваться моей шкуре... — И вдруг неожиданная мысль пришла ему в голову. — Вот оказия! — воскликнул он с озабоченным видом. — У меня есть пункт насчет потрошения, чтоб зарыли живьем — никак не желаю... Как ты думаешь, законно будет упоместить, чтоб в кожу переплели Гельвециеву «Систем де ла натюр», ась?

— В какую кожу? — широко раскрывая глаза, спросила Наташа.

— Да в мою же, в мою, — с досадой на непо-

нимание дочери ответил Петр Евсеич и добавил с комическим отчаянием: — Нет-нет, не позволят. Я уж знаю, что не позволяют. На все запрет, на все-с!..

Прежде Наташа расхохоталась бы на такую выходку, но теперь она заплакала навзрыд. Петр Евсеич растерялся. Он бросился к графину с водой, уронил и разбил стакан, потом схватил руки Наташи и стал целовать их, бормоча: «Окончательно выше понимания!.. Окончательно испортилась замужем!.. У нас и в роду никто не плакивал!..» — и вдруг закричал сердито:

— Поликсена! Поликсена! — и, всхлипывая, убежал в другую комнату.

С этих пор он совершенно перестал говорить о завещании, а для развлечения начал строить при въезде в усадьбу какую-то хитрую арку, на которой в один прекрасный день появилась крупная надпись: *Memento quia pulvis est*[12].

— Откуда это? — с насмешливой улыбкой спросил Струков, как-то приехавший с женою в Апраксино.

— А католические попы пеплом лбы ма-

жут-с, в первый день ихнего поста-с, и провозглашают эти слова-с, — серьезно объяснил Петр Евсеич.

— Mercredi des cendres[13] называется этот день, — подхватила Наташа, страдая от улыбки мужа. — Но зачем же на воротах-то, да еще по-латыни? Затейник ты мой!

— Для гостей-с, для образованных людей, Наташечка... Ги, ги, ги! Они-то ведь и не чают, что пойдут на замазку... Я-ста, да мы-ста! (Он покосился на зятя.)

— Образованные люди и по-русски умеют, — ответил тот.

— По-русски умеют и простецы-с, — возразил Перелыгин, начиная раздражаться, — а им эти слова читать не для чего-с, они и без того эти слова помнят-с — земля есть и в землю отъидоша. Пускай уж лучше прочтут образованные-с, по-латыни-с.

Алексей Васильевич пожал плечами и отошел. Решительно ему становилось все тяжелее в присутствии Перелыгина.

К полной неожиданности Струковых доктор был приглашен, и даже не на один визит, а постоянный, с обязательством жить в

Апраксине. Случилось это так. Ни слова не говоря о завещании, Петр Евсеич продолжал втихомолку заниматься им, и в июне поехал в Х. совещаться о богадельне, причем отклонил предложение дочери сопровождать его. На этот раз Наташа и не особенно беспокоилась: за весну отец очень посвежел и путешествие по Волге на пароходе могло быть ему только полезно. Вдруг недели через две к крыльцу струковского дома подкатила коляска, из которой вышел точно помолодевший Петр Евсеич, а за ним незнакомый человек в каком-то неопределенного цвета балахоне, в самодельном шерстяном колпачке, сдвинутом на затылок, в высоких сапогах. Петр Евсеич, с необыкновенным удовольствием и лукавством хихикая, назвал его Григорьем Петровичем Бучневым и рассказал, что познакомились они по дороге в Х. и вот господин Бучнев согласился быть его годовым врачом. Без балахона и колпачка доктор оказался сильно и широко сложенным, средних лет мужчиной, с большой, коротко остриженной головой, с тонкими, породистыми и холодными чертами лица, с пронизательным, но таким

же, как и выражение лица, холодным взглядом, в котором иногда зажигался острый и, по мнению Струкова, неприятный, гипнотизирующий огонек. Он был очень молчалив, а когда говорил, то резко, отрывистыми фразами, и редко смеялся; в последнем случае лицо его превращалось до неузнаваемости, — Алексей Васильевич уверял, что оно становилось похожим на лицо идиота, Наташа находила в нем что-то ребяческое и простодушное. Как бы то ни было, чувствовалось скрытое очарование силы в этом человеке, и когда он уехал, пробывши на хуторе часа четыре, Наташа и Струков в один голос сказали, что это странный, своеобразный, тяжело действующий на нервы господин, но, должно быть, интересный. Петр Евсеич, очевидно, успел в него влюбиться. Прямо с приезда он увлек Наташу в отдаленную комнату и, захлебываясь от наслаждения, рассказал ей подробности своего знакомства с доктором. Оказалось, Бучнев пленил старика язвительными нападками на медицину, откровенным повествованием о своей карьере, и еще тем, что очень интересовался сектантством, — но, главное, как поня-

ла Наташа, пленил вот этой своей силой и, что Петр Евсеич чрезвычайно ценил, умственным и физическим бесстрашием. «Бывалый человек, — шепотом восклицал Петр Евсеич, — бунтовой!.. В жизнь свою впервой встречаю такого человека!» Когда-то имя его было замешано в самых дерзких предприятиях. После он много лет жил за Уралом; возвратившись оттуда, ездил за границу, где, впрочем, и прежде бывал, даже в Америке. Знакомство с Перелыгиным застало его в самый неопределенный момент: он пробирался к родне, куда-то на Кубань, хотел заняться операциями в какой-то станице. По специальности он был хирург.

В тот же день вечером как будто в связи с новым знакомством в жизни Струковых произошли разные события, о которых впоследствии Алексей Васильевич не мог вспомнить без суеверного ужаса.

Уложив детей спать, Наташа вышла на балкон и долго думала. И вдруг с удивлением заметила за собою, что то и дело возвращается мыслями к доктору, что ей отчего-то становится все неприятней и тяжелей его присут-

ствие около отца. И, странная вещь, воображая лицо Бучнева, она могла только вспомнить его глаза, и не цвет их, а пристальное, хотя в то же время и безучастное выражение с редкими проблесками того огня, что Алексей Васильевич назвал гипнотизирующим; все остальное расплывалось перед нею в каком-то тумане.

Но мало-помалу она принудила себя не думать об этом, даже тряхнула головой и рассмеялась, и, прошептав: «Как хороша ночь!» — стала смотреть и слушать, облокотившись на перила. Ночь действительно была хороша: теплая, насыщенная ароматом подкошенной травы, с каким-то трепетным содроганием, от времени до времени волнуемым неподвижный воздух, с повсюду разлитой негой томления и любви. Наташа знала, что так бывает перед грозой, и ее ослабленные после — болезни нервы испытывали такое впечатление, как будто она слушала удивительную музыку, скрытую в отдалении. Зарница блистала где-то над степью. В хлебах гремели перепела; запоздавший соловей робко выводил свои трели в непроницаемой тем-

ноте дубовой рощи; протяжная песня звучала за деревней; едва слышно рокотал ручей в овраге; в черном небе загадочно сияли звезды.

И чем дольше сидела Наташа, тем страннее и прекрасней становилась ночь. Отовсюду веяло необъяснимым, — и необъяснимая тревога закрадывалась в сердце Наташи. Ей было больно и жутко, и хотелось плакать — и хотелось, чтоб без конца тянулась эта ночь, без конца совершалось превращение зарницы, звезд, запахов, таинственных очертаний в звуки, разрывающие душу сладким и страшным предчувствием беды.

— Что ты не спишь? — неожиданно раздался недовольный голос Струкова.

Наташа вскрикнула, торопливо провела рукою по щекам — они были все в слезах, — и вдруг бросилась к мужу и крепко обняла его.

— Что с тобой? О чем ты плачешь? — спросил он с беспокойством.

— Ничего, ничего, миленький... Это я так... Это пустяки... Садись сюда. Обними меня. Мне что-то холодно, страшно...

— Опять твои нервы! Когда ты серьезно

примешься за лечение? Вот поговорила бы с доктором.

— Да, да, конечно... Непременно поговорю. Но обними же меня, Алеша!

— Вот какая ты... Целые месяцы не приходишь, и вдруг...

— Молчи!.. Не смей этого говорить! — болезненным голосом вскрикнула Наташа и быстро отодвинулась. Струкову показалось во мраке, что она сделала отчаянное движение своими по локоть обнаженными руками, но сердце его оставалось холодно, может быть, потому, что он и сам был в каком-то чрезвычайном настроении. Минут пять продолжалось молчание.

— Будет дождь, — вымолвил Алексей Васильевич.

— Да, вероятно, — отозвалась Наташа, к его удивлению, почти спокойным голосом.

Опять помолчали. Струков нетерпеливо барабанил пальцами по балясине.

— Какая ночь, — сказал он.

— Очень теплая, — совсем уже спокойно ответила Наташа и потом добавила деловым тоном: — Ты завтра не думаешь съездить в

Апраксино?

— Нет, не думаю. Зачем это?

— Тогда я поеду одна. Необходимо поговорить с этим Бучневым о болезни отца... Как, по-твоему, действительно он будет полезен отцу?

— Ну, не знаю.

— Интересный-то он интересный, но я чего-то боюсь. И как странно — медик и вдруг, отец говорит, ругает медицину.

— Это у них в моде теперь.

— А тебе не показалось, что он может быть авантюристом? И из опасных?

Струков засмеялся.

— Немножко сумасшедший, это так, — сказал он и прибавил насмешливо: — Но ведь вы с Петром Евсеичем любите оригинальность... На ловца и зверь бежит.

— Мне ужасно неприятно, — задумчиво произнесла Наташа.

— А сама говоришь — смеется как ребенок?

— Ужасно, ужасно, — тихо повторила она, не обращая внимания на слова мужа, и, легонько вздохнув, сказала: — Ну, прощай, пой-

ду спать.

Алексей Васильевич встрепенулся. На мгновение неудержимая радость наполнила его душу, но вслед за тем что-то ущипнуло его до физической боли, до слез, до потрясающего озноба...

— Послушай, — выговорил он изменившимся голосом, удерживая жену за руку, — может, ты пойдешь ко мне, дорогая?.. Мне так много надо тебе сказать... так много... Ах, как я виноват... какой я скот, если б ты знала...

Наташа в недоумении повернулась к нему. Но вдруг ей пришла в голову мысль о внезапно вспыхнувшей грубой страсти, о том, что это от нее так отвратительно дрожит рука Алексея Васильевича, трясется и хрипит его голос, произносящий мерзкие, недостойные мужчины слова. «А когда я молила тихой, дружеской ласки, ты обдал меня холодом!» — воскликнула она про себя и, с негодованием выдернув руку, сказала: «Что за нежности!» — и скрылась в дверях.

Струков остался один. Несколько минут он молчал, низко понутив голову... Потом горько усмехнулся, прошептал: «Значит — судь-

ба!» — и поплелся в рощу. И вскоре из-за рощи, через степь, от оврага донесся до него тонкий, длительный звук. Он выпрямился сдерживая дыхание, насторожился... «А-у-у-у!» — зазвенело от оврага каким-то тоскующим призывом. И снова восторженная, придающая крылья радость овладела Струковым. Он бросился было бежать, торопливо раздвигая кусты, но через несколько шагов что-то опять кольнуло его в сердце и ноги отяжелели... «Подлец ты, Алексей Васильевич!» — сказал он раздельно и громко. В это время в третий раз зазвенело от оврага; затем все смолкло, только дальше и дальше по направлению к степи шелестел кустарник, раздвигаемый нетерпеливой рукою, да перекликались перепела, да вдали жалобно замирала деревенская песня.

На другой день, приехавши в Апраксино, Наташа хотела тотчас же переговорить с доктором о болезни отца, но это ей не удалось: старик не оставлял их вдвоем. Ходили на постройку, смотрели лошадей и свиной завод, завтракали, стали пить чай... Петр Евсевич был в чрезвычайном оживлении. Очевидно, мысли, слова, даже жесты доктора доставляли ему особое удовольствие; а то, что от этих слов и мыслей в глазах Наташи попеременно мелькали то гнев, то недоумение, приводило его в неистовый восторг. Впрочем, заметно было, что он побаивается доктора, — боится, чтобы тот не подумал, что его показывают, навел разговор на интересные темы с великой осторожностью и с таким видом, как будто это выходило само собой. Но Наташе казалось, что доктор отлично понимает уловки отца и нисколько не придает им значения. «Или не обидчив, или очень хитер», — подумала она, — и то и другое ей не нравилось.

— Вот я, Наташок, рассказывал им твои по-

двиги, — вкрадчивым голосом сказал Петр Евсеич, когда подали чай. — Они говорят — Петька Зудотешин кругом прав, а ты кругом виновата.

— Чем же это он прав, а я виновата? — спросила Наташа, окидывая недоброжелательным взглядом доктора, спокойно кутившего коротенькую венскую трубочку.

— Он линию свою довел, а вы нет, — сказал доктор.

— Да, но за ним сила, а за мной что такое?

— И за вами следовало бы быть силе.

— Какой?

— Воли, я думаю.

— Они говорят, будто ты не должна была сдаваться, — вмешался Петр Евсеич, вертясь на месте от сладостного нетерпения. — Тебе сказано, не ездь в школу, а ты ездь; не учи, а ты учи; не читай с волшебным фонарем, а ты читай... Ги, ги, ги!

— Но вы знаете или нет русские законы?

— Знаю.

— Меня уволили из попечительниц.

— Это их дело. А не обращать внимания — это ваше дело.

— Они говорят, в своем бы доме тебе собирать ребятишек! — захлебываясь, воскликнул Петр Евсеич. — И учить-с... и читать-с... и картинки показывать-с!.. А ежели за это острог, — отсидела и опять, и опять за то же самое!.. А ежели в другое место ушлют — и там за то же самое-с... Вот они что говорят... Ги, ги, ги!

Бучнев вынул трубку и, выбивая из нее пепел, сказал:

— Впрочем, я вообще против этого.

— Против народного образования?

— Против народного образования пароксизмами.

— Как это пароксизмами?

— Не инспектор бы захлестнул, — сама жизнь. Нельзя уединить вашу образованную деревню от тысячи необразованных.

— Значит, пускай свирепствует невежество?

— Что такое — невежество? Безграмотность? Апостолы были безграмотны, кроме Павла. А Бисмарк и Тьер — образованные. И тот, кто выдумал электрическую казнь.

— Это софизм!

Бучнев помолчал.

— Но что же делать, по-вашему? — с раздражением спросила Наташа.

— Поступать, как нравится.

— Ну вот кому-нибудь нравится школа, культурная работа, земская, судейская деятельность, и отовсюду гонят.

— А гонят — идите в другое место.

— И ничего, если бы гнали грубой, полицейской силой, — продолжала, все более разгорячаясь, Наташа, — а то само общество, людишки, предрассудки, отсутствие умственных интересов, пошлость непомерная... Вот что колеблет почву под ногами.

— Это всегда и везде так бывает.

— Однако в шестидесятих годах этого не было.

— Все равно.

— Григорий Петрович говорят, тогда только души были заражены, — подхватил Петр Евсеич, — микробами... ги, ги, ги!.. Душонки те же самые, но только заражены. Правильно я толкую вашу мысль, Григорий Петрович?

На губах доктора промелькнуло некоторое подобие улыбки.

— Вполне, — сказал он.

— Не понимаю, — отрезала Наташа. — Я знаю лишь то, что тогда отчетливо различали зло от добра; что ради последнего действовали во всю силу, а не с ужимками; что общественная совесть была возбуждена как никогда впоследствии...

— Зла и добра я не признаю, это — слова, — произнес Бучнев.

Петр Евсеич даже привскочил и завизжал от наслаждения.

— Да, да, вот они из каких-с! — торопливо заговорил он, обращаясь к Наташе и смешно размахивая руками. — Нет добра, нет злого начала-с!.. Сказки!.. Переживание!.. Атавизм!.. Я это всю мою жизнь твердил... Я мужу твоему, Алексею Васильевичу Струкову, это твердил-с... и не впрок-с... Ему все не впрок!

— Хорошо, оставим Алексея Васильевича, — нахмурясь сказала Наташа, — но растолкуйте мне, пожалуйста, что за микробы такие?

— Воля так же заражается, как и физический организм, вот и все. Иначе нельзя объяснить. Авторитет Петра Великого, дела Ивана

Грозного, крестовые походы — ничего нельзя объяснить. Дико, нелепо, странно... точно пляска святого Витта. А с этим объяснением очень понятно.

— Отчего же не фантастика охватила людей в шестидесятих годах, а горячий порыв к правде, к справедливости, к устранению обществу?

Григорий Петрович пожал плечами.

— Ну, об этом долго говорить, — сказал он. — Вы ведь спросили, что делать? Я отвечаю — то, что нравится. Вы сказали, нравится вам вот что, но люди плохи. Я отвечаю: людей возможно заразить. Но для того, чтобы заразить, нужно, во-первых: идти напролом, во-вторых, — угадать то самое важное, что стоит на очереди. Вы напролом не шли, это — раз; самое важное не угадали, это — два. И вот почему никого не заразили... и не знаете, что делать. Я полагаю, это оттого, что вам не нравилось ваше дело. И совершенно правы: оно не может нравиться.

— Почему?

— Мелко.

— Н-ну, не знаю. Что же крупно, по-ваше-

му?

— Вы увлеклись строительством на песке. Надо не строить, — надо до материка расчистить сначала место.

— И потом?

— Потом — не знаю. Не дождемся. Без нас выстроят что нужно.

— Хорошо, допустим, — хотя я совсем, совсем не согласна. Но как же расчищать? Что вы понимаете под этим? Опять фантастические авантюры?

— Я понимаю под этим — жить, как мне хочется, говорить и делать прямо, без обиняков и компромиссов.

— Моя мысль, моя всегдашняя мысль, — вполголоса пробормотал Петр Евсеич. «И моя», — подумала Наташа, но тем не менее иронически спросила:

— И это значит угадать самое важное?

В глазах Бучнева засветилось острое выражение.

— Да, — ответил он металлически зазвучавшим голосом, — да, самое важное теперь не юстиция, не земство, не школа, не переселенческий вопрос, а то, что все изолгались,

все трясутся от выдуманных страхов. Надо не лгать и не бояться. Надо этим заражать людей.

— Ах, создатель мой, — это же отрицательные добродетели!

— Вот как? А вы проверьте, есть ли они у вас?

Наташа покраснела от негодования, — и от того, что в грубых словах Бучнева ей почудилось справедливое и тонкое наблюдение.

— Это личности, — сказала она.

Он опять изобразил некоторое подобие улыбки, — глаза его приняли обыкновенное выражение, — и методически стал набивать трубочку.

— Я, однако, желала бы узнать подробности вашей программы, — волнуясь, спросила Наташа. — Ну, например, вы. Что вы делаете? Как осуществляете ваше хотение и ваше бесстрашие?

— Это личности.

— Нет, без шуток?

— Без шуток я не хочу с вами говорить. Вы — обидчивы.

— Ну, так я имею право подумать, что вы

просто из тех говорунов, что «по свету рыщут, дела себе исполинского ищут!» — не владея собой, воскликнула Наташа.

— А так как «наследия отцов» у меня не имеется, то вот сорву с Петра Евсеича тысчонку, другую и снова в путь, — сказал доктор и неожиданно засмеялся своим до странности простодушным смехом. Петр Евсеич звонко вторил ему, ухватившись даже за живот, из особого чувства подобострастия... Наташа невольно улыбнулась, молча допила свою чашку и подумала, что теперь удобное время переговорить с доктором о болезни отца.

— Пойдемте, я вам покажу сад, — сказала она, надевая шляпу.

— Эх, охота вам на зелень смотреть! — жалобно пропел Петр Евсеич, но не получив ответа, нахлобучил: с необыкновенно широкими полями панаму, лениво взял в руки трость, еще ленивее сошел в цветник, и неподвижно уселся на самом припеке.

Наташе показалось, что и доктор последовал за нею неохотно. Вообще она как-то вдруг заметила, что в его лице не было вчерашней холодной определенности, что он чем-то рас-

строен, что его спокойствие если не притворно, так обманчиво. И нечто вроде раскаяния за свою беспричинную враждебность к этому человеку зашевелилось в ее душе.

Петр Евсеич действительно чувствовал какое-то недоброжелательство к «зелени» и, переходя от одной охоты к другой, никогда не увлекался садоводством. Вот почему в Апраксине сад был очень запущен. Аллеи заросли травой, плодовые деревья одичали, небольшой парк превратился в непролазную чащу, перепутанную подгнившим сухоподстоем, молодыми побегами, крапивой, буйно разросшейся ежевикой. Только близ дома были распланированы цветочные клумбы, сверкал зеркальный шар, водруженный на месте прежних солнечных часов, краснели утрамбованные дорожки, посыпанные мелкопросеянным толченым кирпичом. По мнению Наташи, это было самое скучное место в Апраксине, особенно в знойные солнечные дни, когда и пестрые клумбы с ослепительным шаром, и кроваво-красные дорожки, и холеная зелень газонов казались какими-то бутафорскими принадлежностями. Но Петр Евсеич,

выходя в сад, не делал шагу дальше этого цветника, очень был доволен, что в нем нет тени и гладко ходить. Шар и дешевые цветочки были затеи приближенной Петра Евсеича, горничной Поликсены. Старик язвительно ухмылялся на ее вкусы, но не противоречил.

Наташа с доктором ушли далеко, сначала по старой березовой аллее, наполовину лишенной тени, потом куртиной, примыкавшей к парку. Разговор между ними не налаживался. Она считала неловким прямо приступить к делу, да и потому еще откладывала, что боялась узнать что-нибудь очень дурное. Он становился все рассеяннее и только кратко, хотя с обычной своей обстоятельностью, отвечал на вопросы. Таким образом, Наташа перебрала разные сюжеты. Узнала, что по матери он кубанский казак, не помнит отца, учился в реформатской школе в Петербурге, потом в медико-хирургической академии; участвовал в колонии Фрея в Америке, занимался одно время историей религий, историей демономании и эпидемических помешательств в средние века, сходил с спиритами, с визионерами, с американскими «free-

masters» [14], думал было ехать в Индию, да встретив в Лондоне Блаватскую и познакомившись с нею и с полковником Ольвотом, убедился, что ехать незачем. Узнала Наташа и о том, что ему более сорока лет, что он «давно взял за правило не читать беллетристику, журналы и газеты» (о газетах даже сказал, что «специально ненавидит этого рода бумагу»), что из всех национальностей больше всего ценит англичан, о французах же думает, «как покойник Фонвизин», и не любит их; что, впрочем, к массе вообще трудно чувствовать любовь, если это не дети и не собаки... Детей и собак он очень любит. Наташе хотелось бы еще кое о чем узнать, — например, был ли доктор женат, или, по крайней мере, любил ли женщин и как смотрит на такую любовь. Он ей казался все больше интересным и все меньше заслуживающим антипатии. Но его внутренняя озабоченность останавливала ее от слишком интимных вопросов, и после некоторого молчания она предпочла заговорить о болезни отца.

— Кай смертен, Наталья Петровна, — вас этому обучали? — ответил Бучнев. — Впро-

чем, с его деньгами проскрипит.

— При чем же тут деньги, доктор?

— Зима для него нехороша. Поехать бы надо... в Крым, что ли, все равно. Да не в обстановку гостиницы, а в такую же, как здесь, чтобы не ломать привычек. Это — расход.

— Но что же у него?

— Да вы к этому как? — Он внимательно взглянул на нее и, встретившись с ее встревоженным взглядом, продолжал: — Пока не скажу. Пустяки. Скажу когда надо, не скоро. Пустяки и Крым, пожалуй. Будь он нищий, тогда и без того бы проскрипел.

— Но меня беспокоит то, что вы сами не верите в медицину?

— Гм... Это-то и хорошо, — не испорчу.

— Да вы, Григорий Петрович, в самом деле не верите, или...

— Притворяюсь? Нет, я не притворяюсь. Впрочем, кто вам сказал? Петр Евсеич? Видите ли, есть наука об организме человека и есть искусство лечить. Я только не верю, когда это смешивают. В искусстве совершенно такая же наука, как у любой ворожеи.

— Однако есть знаменитые врачи, Заха-

рьин, например?

— Есть и знаменитые знахари, Кузьмич, например?

— Значит, лечить не надо?

— Организм сам себя лечит. Мешать не надо.

— Но следует и помогать, я думаю?

— Само собой.

— Вот и придем к лекарствам, например, к хине от лихорадки.

— У меня знакомый поп в Красноярске мух давал глотать от лихорадки. Превосходно помогло.

— Какие глупости!

— Это вы насчет мух? Да, лучше ничего не надо. «Не хочу болеть» — это самое верное лекарство. Паскаль всю жизнь им лечился.

— И всю жизнь был болен. Вы не толсто-вец ли?

Он впезапно остановился, помолчал, точно к чему-то прислушиваясь, и рассеянно ответил:

— Нет, я хирург.

— А сами болели когда-нибудь?

— Никогда. Впрочем, одно время подумал,

что незачем жить, и схватил крупозную пневмонию. Изменились мысли — прошло.

— Жаль, что у вас нет. детей! — со вздохом вырвалось у Наташи.

— Вы хотите сказать, тогда бы я верил в рожею? Но верят от двух причин: оттого, что думают жизнь — благо, и еще оттого, будто бы жизнь замыкается в здешних формах. Я ни того ни другого не признаю.

— А! Какой вы счастливый человек! Значит, предполагаете — есть бессмертие?

— Не предполагаю, но уверен.

— Вот уж не ожидала от доктора! — воскликнула Наташа, но, взглянув на Бучневу, пожалела о своих словах и вдруг почувствовала, что ей страшно. Он опять остановился, к чему-то прислушиваясь; в лице его была неизъяснимая тревога; неподвижный взгляд, устремленный куда-то вдаль, светился новым для Наташи выражением тоски и беспомощности... Солнце стояло на полудне. Горячий воздух не шевелился. Поникие листья деревьев были тусклы и скучны. Вблизи начинался парк, уходивший в крутую долину; за долиной зеленел лес; за лесом, на горе, уныло об-

нажались бесцветные под полуденным солнцем поля и тонкой спиралью кружилась пыль на горизонте, поднятая вихрем.

— Что с вами? — прошептала Наташа.

Он, очевидно, сделал усилие над собой, усмехнулся и произнес также тихо:

— Не бойтесь... Это бывает со мной... Вы ничего не слышали?

— Нет, ничего... Иволга кричит, — сказала она шепотом, не отрывая глаз от его изменившегося лица и усиливаясь преодолеть беспричинный озноб, от которого начинали дрожать ее ноги и руки.

Он тряхнул головой и молча прошел несколько шагов. Потом сказал обыкновенным голосом:

— Я иногда пью... Надо полагать, это подходит. А может быть, и перед грозой... — И сухо добавил: — Вы, впрочем, не беспокойтесь: Петру Евсеичу известно. И я всегда могу удалиться, если найдут мое присутствие вредным или лишним.

— Ах, создатель мой, кто же об этом говорит! — с искренним порывом воскликнула Наташа; страх ее прошел, и она едва не пла-

кала от острого чувства внезапно вспыхнувшего сострадания. — Но зачем же вы?.. Неужели это необходимо? Значит, вы больны... Но, говорят, вспрыскивать стрихнин — очень помогает. Обратитесь к Португалову в Самаре, он горячо писал об этом, кажется, публиковал даже факты...

Бучнев посмотрел на нее и сказал не свойственным ему, почти ласково зазвучавшим голосом:

— Какая вы, должно быть, добрая. Нет, мне не поможет стрихнин. У меня не запой. Я просто пью потому... — он на мгновение затруднился, потом закончил твердо: — потому, что когда пью, ничего не слышу оттуда. Это очень хорошо. Простите, пожалуйста. Итак, еще слово о Петре Евсеиче. Лечение, по-моему, одно — диета и возбуждать жизнеспособность. Пусть страстно хочет жить, — это поможет надолго.

— Надолго!.. А потом, доктор, потом?

Бучнев невесело усмехнулся.

— Потом умрет, конечно, как и вы, как все. То есть сделается сновидением здесь и фактом там... Однако вы нервничаете и, кажется,

хотите заплакать, — отчего? Это я вас заразил? Но у меня прошло, смотрите. И вот прекрасно: подымается ветер, в лесу зашумело, на западе вырастает туча... Будет гроза.

Ближе к вечеру действительно собралась гроза, нешумная, но с непрерывным блистанием молний, с каким-то самодовольным рокотом в густо-лиловых небесах; пошел крупный теплый дождь. Сидели на террасе, сделанной как оранжерея. Наташа была молчалива и задумчива. Изредка она взглядывала на отца, на доктора; мгновениями у нее пробегали мысли о том, что у Петра Евсеича почти прежний румянец на лице и Бучнев, пожалуй, прав со своей теорией психического влияния; что профиль доктора слишком барский для кубанского казака; что вчера она, может быть, была несправедлива к мужу; что, правда, у нее расстроены нервы и надо бы полечиться и напрасно она не сообщила доктору о связи отца с Поликсеной, и какие это голоса он слышит, и что теперь делают мальчики, и как, должно быть, грязна дорога... Но под этими отрывочно и быстро пробегающими мыслями разрасталось что-то иное в ее ду-

ше, как тусклая глубина реки, над которой отрывочно и быстро всплескивают мелкие волны. Неопределенное беспокойство томило ее; сердце ныло, как ноют иногда зубы, и точно от зубной боли она по временам судорожно сжимала челюсти. Между тем разговор был интересный; прежде она непременно примкнула бы к нему; но теперь только слушала, и содержание разговора странно переплеталось в ее голове с случайно набегавшими мыслями, с картинками далекого детства, с ощущением беспредметной тоски, прибывавшей точно полая вода: незаметно и неотразима.

Говорили о наиболее своеобразных движениях в расколе, — о самосожигателях, о запащиванцах, о морельщиках, о странниках или бегунах, о новой секте «ненаших» и «неплательщиков». Говорили о том, почему «Спасово согласие» называют «глухой нетовщиной»; и по поводу этого — о произвольной терминологии исследователей и миссионеров, все-таки не успевающих наклеивать ярлыки на возрастающее множество толков, настроений и пониманий. Говорили о том, правы ли припи-

сывающие расколу политическое значение, или, наоборот, одно лишь религиозное, и отчего потерпели такую неудачу в сношениях с старообрядцами Кельсиев и тогдашние эмигранты, и во что наконец сложится двухвековое брожение обособленной, принужденной работать в строгом секрете мысли. Впрочем, Бучнев больше расспрашивал, очевидно проверяя свои сведения, а Петр же Евсеич с увлечением вдавался в воспоминания, цитировал множество авторов, рукописей и книг, строил выводы. Он рассказывал о железных характерах, об «острых головах», о ничем не укротимой дерзости поступков и умозаключений и с ударением отмечал, что в новейшее время это встречается лишь у так называемых «беспоповцев» и что вообще раскол надо резко различать в его двух главных течениях. Характеризуя одно из этих течений, он ядовито и с злыми глазами, как будто где-нибудь «на прениях», описывал невероятную возню с беглыми попами, смешной чин их «исправления», таксу на них особых промышленников, что покупали их на Иргизе «оптом» и «пускали в оборот по мелочи»; затем с тою же беспо-

щадностью насмеялся над экспедицией Петра Великотворского и инока Геронтия на Восток, за «древлеправославным» епископом, и как такой епископ не нашелся, а нашелся грек Амвросий и что из этого вышло; затем, зло- радно взвизгивая, поглумился над «окружниками» и «противо-окружниками», над Онуфрием «наместником» и Софронием «митрополитом казанским», над двумя Антониями, над белокриницким Кириллом, — как они извер- гали друг друга из сана, предавали друг друга анафеме, объявляли еретиками и ересиарха- ми.

— Это не раскол, а табун-с! — кричал Петр Евсеич. — Стерегут его якобы иерархи, а на са- мом деле московские толстосумы-с! Преем- ства от героических зачинателей там не встретите-с! Дерзновенного духа князей Мы- шецких не найдете-с! Все ушло в букву да в обряд. Попытка Василия Ивановича Кельсие- ва не скажу — глупость, но кабинетное непонимание вещей-с... Не мудрено, что вышла осечка-с.

И с совсем непохожим выражением в лице и в голосе рассказывал о другом течении, о

том, которое «началось в олонецком помырье», которое «бредит как молодое вино» и беспрестанно выделяет из себя новые разветвления, и «кипит дерзновением», и легко освобождается «от дисциплинарной окаменелости обряда», и «не боится рационализма», и будто бы представляет «удивительное совпадение с работой критической мысли, ныне происходящей на Западе».

— Вот ахнули на господина Базарова! Вот зашумели — Базаров-де из Европы, от Фейербаха и Бюхнера произошел! А того и невдомек, что подпочва-то в мужиках-с... И с незапамятных времен-с! И нигилизм куда сердитей, чем у господина Базарова-с! — торжествуя восклицал Петр Евсеич и дальше рассказывал о своих непрекращающихся сношениях с единоверцами, о том, что по нескольку раз в год в Апраксино наезжают «острые головы» с Урала и с среднего Поволжья, что он снабжает их по старой памяти «аргументами, любопытными книжками, сведениями, деньжонками»... Иногда у Наташи складывались возражения; она могла бы сказать, что «подпочвенный нигилизм» слишком часто смахи-

вает на распущенность и особое мещанство; что «острые головы» посещают Апраксино больше из-за денег да из-за связей Петра Евсеича; что в окраске «крайних» сект большую роль играют низменные страсти «главарей» с одной стороны и невежество массы с другой; что и помимо таких страстей «дерзновение» создается не внутренней работой мысли, а внешними обстоятельствами: отсутствием свободы, доверия, веротерпимости, и что все это отлично чувствует сам Петр Евсеич да увлекается, хотя в последние годы далеко не так, как увлекался прежде... Ей казалось и то неправильно, что с таким глумлением говорил Петр Евсеич о «беглопоповщине» и об «австрийском согласии»: он забыл неутолимую жажду «благодати» в простом народе, умилительные жертвы и подвиги ради достижения этой «благодати», забыл веру, которая, например, понуждает какого-нибудь «миленького старичка» брести за две, за три тысячи верст, из Сибири в Москву, чтобы удостоиться принятия «святых тайн» на Рогожском кладбище; а главное — то забыл Петр Евсеич, что вопрос «о восстановлении благодати» его

самого очень интересуется и что, когда он отвлекается от «дерзновений», ему серьезно мерещится «единая церковь» и «едино стадо», хотя бы для «сирот», как это объявлял он в Лондоне Струкову. Могла Наташа поправить и доктора, когда он неверно, «по Костомарову», определил характер самосожигательства, сказал, что это похоже на то, как взрывает себя гарнизон в осажденной крепости; Петр Евсеевич не возразил на это, а между тем она знала, что проповедь самоубийства в свое время считалась догматом у «филипповцев», догматом осталась и теперь в некоторых сектах, и что еще протопоп Аввакум писал о сладости и спасительности огненной смерти. Она даже отчетливо вспомнила и произнесла про себя отрывок из этой апологии самоубийства: «...Егда загорись — видишь Христа и ангельские силы с ним... Емлют души те от телес да и приносят ко Христу, а Он, надежда, и благословляет, и силу ей подает божественную... Туды же со ангелы летает, ровно яко птичка попархивает, рада из темницы своей вылетела. Темница горит в пещи, а душа, яко бисер, и яко злато чисто взимается со ангелы

выспрь во славу Богу и Отцу». Но в разговор Наташе не хотелось вмешиваться — все от той же беспредметной тоски, от того же внутреннего беспокойства. И когда она вспомнила о словах; «протосингела российские церкви», их архаический аромат вызвал в ее памяти сначала какой-то щемящий мотив, странно совпадавший с ее душевным состоянием, потом низенькую комнатку с изразцовой лежанкой, тусклый свет лампы, иконописную фигурку няни Пафнутьевны, тень от нее на белой стене с нелепо шевелящимися чулочными спицами, огромного кота, фосфорически высматривающего с лежанки, шум зимней вьюги за окнами, — и трогательные слова старинной раскольничьей стихиры:

*Прекрасная мати пустыня,
Любезная моя дружина,
Пришла аз тебя соглядати...
Потщися мя восприяти,
И буди мне яко мати,
От смутного мира прими мя,
С усердием в тя убегаю...
Пойду по лесам, по болотам,
Пойду по горам, по вертепам,
Да где бы в тебе водвориться...*

«Куда девалось все это?» — подумала Наташа с внезапно закипевшими где-то внутри, слезами. «Куда делись мои мечты под эту стихиру, мои детские сны, мои надежды?» И, боясь расплакаться, она порывисто встала и сказала, что едет домой. Петр Евсеич убеждал ее подождать, пока минует гроза, — впрочем, без особой горячности, потому что очень занят был развитием своих мыслей о расколе; Бучнев ничего не говорил, но смотрел на нее с какой-то тяжелой проницательностью.

— Нет, нет, — повторяла она, стараясь не встречаться с глазами доктора, и вдруг, неожиданно для самой себя, спросила у него: — Вы и в предчувствия, конечно, верите?

— Конечно, верю, — ответил тот спокойно.

— А! Ну, так знайте: ломается сейчас моя жизнь, — воскликнула она и истерически засмеялась.

Судя по времени должен был совершаться солнечный закат... Но от туч, обложивших небо, и от поднятого верха коляски Наташе ничего не было видно. Ей было видно только согнутую спину Ильи, обтянутую кожаным

армяком, косую сеть дождя, молнию, там и сям разрывавшую небо, тревожно шумевшие под дождем нивы, озаряемые зеленым блеском... Гром рокотал то близко, то удаляясь к горизонту, в жидкой грязи звучно и однообразно шлепали лошадиные копыта, свежий, влажный воздух, смешанный с каким-то трезвым запахом разрытой земли и развернувшихся почек, — с тем самым запахом, что бывает только ранней весной и еще после грозы, — вливался в грудь Наташи, прогонял куда-то неотвязно грустный мотив стихир, отрезвлял ее душу. «Зачем я сказала это? — думала она с досадой. — Кто подтолкнул меня выговорить такую чепуху... Что он мне?.. К чему откровенности с совсем незнакомым человеком?.. И даже не откровенности, а смешной бред...» И она нервически вздрагивала, вспоминая весь нынешний день, — и, точно впереди, на хуторе, в детской, в кабинете мужа, ждал ее отдых после изнурительной работы, приказывала гнать лошадей. А когда показались огоньки на хуторе, воскликнула про себя: «Вот моя мати пустыня... и ничего мне больше не надо!»

— Где Алексей Васильевич? Что делают дети? — торопливо спросила она, вбегая в переднюю, где ее встретила горничная Агаша; и сама изумилась той необыкновенной радости, что охватила ее от будничного выражения на лице Агаши, от того, что в передней все было как всегда, и даже лампа, по обыкновению, воняла керосином. Оказались, мальчишки укладывались спать, Алексей Васильевич сидел в кабинете. Наташа завернула к нему, немножко удивилась и обиделась, что в ответ на ее ласковый, несколько даже восторженный порыв он как-то неискренне взглянул на нее и неискренним голосом пробормотал, низко наклоняясь над книгой:

— Приехала?.. Грязно?.. Здоров отец?..

Зато в детской она чувствовала себя точно в раю. Мальчишки, совсем раздетые, готовились ложиться. Увидав мать, они с радостным визгом бросились к ней, стали прыгать около нее по ковру в своих коротеньких рубашонках, наперебой рассказывали о своих детских делах, спрашивали о дедушке, о «новом дяде» в такой чудной шапочке, и особенно о злой собаке Турке, привязанной у мельницы, и об

утрюмом с лохматыми бровями мельнике Агафоне — два существа, игравшие роль сказочных чудовищ в их головках, бережно охраняемых Наташей от всякой фантастики и чертовщины. Прошло по-крайней мере, полчаса в этом необузданном оживлении — потом они мало-помалу успокоились и разместились по своим кроваткам.

— Знаес, мама, пыходил Масим-сойдат... Стья-а-ас-ный! — сказал Алеша, заботливо натягивая одеяльце до самых глаз.

— Какой Максим, деточка?

— Ах, мама, да сторож же Максим, — пояснил Петрусь с недетской твердостью в выговоре; после болезни он быстро окреп, вырос, и, к удивлению матери, совершенно перестал картавить. — И вот не понимаю, — мама, Алешу: я говорю — у Максима крест, и он — в красных волосах и очень рябой, значит, очень храбрый, но Алеша — все свое и вдруг прячется в нянины юбки... Не правда ли, как это не похоже?

— Он в лесу живет... с войками, — аргументировал Алеша, высовывая носик из-под одеяла.

— Нет, не правда ли, как это не похоже, мама? — повторил Петрусь, методически оправляя подушку.

Наташа утвердительно кивнула ему и принялась внушать Алеше, что солдат Максим живет не с волками, а с женою Фросею, что он такой же караульщик в лесу, как Антип на дворе, что бояться его не надо, потому что он добрый, любит пчел и маленьких детей... «Ну, уж добер!» — с неудовольствием проворчала няня, собирая в одну грудку детскую одежду и саножки. Наташа было нахмурилась, но, взглянув на Алешу, тотчас же улыбнулась: он уже спал, едва слышно посапывая под одеялом.

— Отчего ты, мама, не взяла нас к дедушке?.. Разве там дифтерит?.. И у кого, — у Турки, может быть, дифтерит? — сонным голосом спрашивал Петрусь. — А отчего, мама, гром как колеса... А?.. Это никто там не ездит на лошадках... А?.. Это не похоже... А, мама? — И, не дождавшись ответа, в свою очередь неожиданно заснул.

Наташа из детской опять пошла было к мужу, — ей ужасно хотелось приласкаться и по-

говорить «по душе», но подумала, что он, очевидно, «сердит за вчерашнее», и, развернув дневник, стала записывать разговор детей. Потом вспомнила о няниных словах и пошла к ней в комнату. Там происходило чаепитие. За чистым липовым столом, у превосходно вычищенного самовара сидела няня, горничная Агаша и прачка Василиса. В раскрытое окно веяло благоухающей свежестью, виднелся обрызганный теперь уже переставшим дождем куст калины со своими изящными, похожими на кружево, цветами. Наташе сделалось очень уютно и весело при виде этой картины; она придвинула свободную табуретку к столу и попросила и ей дать чаю. Но все же сказала:

— Пожалуйста, няня, будьте осторожней при детях. Что это такое вы сказали про Максима?

— Сорвалось, Наталья Петровна; виновата. Уж очень он нас разбесил нынче, негодный человек.

— Чем же?

— Он как за харчами придет, так сейчас и в ножи с нами, с женщинами, — смеясь сказа-

ла Василиса. — Кажинную неделю у нас, у женщин, ножовщина с ним.

— И откуда его принесло, несуразного, — сказала няня. — Сами посудите, Наталья Петровна, с осени поступил, никого из мужчинского пола толком не знает, а Фросю тиранит, как Иуда какой из-за ревности.

— Да к кому же он ревнует?

— А спросите! Нынче пришел, расселся, надымил табачищем: «Я-ста свою Апроську в лучшем виде измордовал!» — Няня так умирительно передразнила, как Максим сел, закурил, и его слова, что Василиса с Агашей покатились со смеху. — Да за что же, неумытый, непристойный ты человек? — «А за то: воротился домой — постель холодная». — Подите, поговорите с невежей!

— Не понимаю, — сказала Наташа.

— Это вот что обозначает, сударыня, — с обстоятельным видом заговорила прачка, — вчерась его, варвара, барин к помещику Веденяпину услал, за каким-то там ульем, а он к свету, злодей, воротись, да, по своему обыкновению, прямо в клеть. Фрося-то как лист перед травой, но постель холодная. И дерюжка

на ней, — одеяло значит, — и дерюжка холодная. «Где была?» — «Нигде не была, с вечера сплю». Ну, и бить. Не догадалась сказать: на порожке сидела, вашу милость ждала, только что прикурнула, а вы и вот они, рябая форма.

— Это что, — вмешалась Агаша, — раз, okayнннй, он рядом с ней спал, да как сцапает себя за руку, да как заорет: «Поймал, поймал, держи его!» Рука-то, ишь, онемела, он спросонья и подумал, чужой кто.

На этот раз и Наташа засмеялась.

— А то придет с обхода, — подхватила Василиса, — поводит, поводит носом и давай езуитничать: вишь, запах от женщины чужой, не его, дурака, запах!

— Да откуда вы все это знаете? — спросила Наташа.

— Да сама же, сама она, Фрося, и рассказывает все его выходки. Теперь, идол, запрещение наложил, не пускает ее, а то, бывалоче, придет на стирку — животики мы с ней, женщины, надорвем!

— Значит, не любит его, коли рассказывает?

— О, господи, что сказали! Да где же такого

змея-горыныча любить. Рыжий, рябой, в ушах
волосья, бровя рассечена...

— Что же, ее силой, что ли, за него отдали?

— Не то чтобы силой, да куда деться-то нашей сестре. Деньгами облестил. Ишь, Плевну брал — старичишку турка приколот. Туты-сюды, а под старичишкой кисетик, а в кисетике золотые. Свалился он, батюшка, этак с перинки, — он его, окаянный, в постели, в доме порешил, — а под ним кисетик. Затем и пошла.

— Но она, может быть, действительно легкомысленная?

— Кто ж ее... Не слышать. Брёх — это верно. Ну и глаза... глазищи у ней, правду надо сказать, непутевые.

— Вор-баба! — с убеждением сказала няня.

— Зато из себя замечательная! — воскликнула Агаша.

— О, она очень красива, — сказала Наташа, — скорей на итальянку похожа.

— Из дворовых, Наталья Петровна. Сами знаете, в нашем дворовом быту всего бывало, — с затаенной гордостью вымолвила Василиса.

Няня, по происхождению бугурусланская

мещанка, нашла нужным ядовито усмехнуться на эти слова, однако промолчала.

— Что вы говорите о Максиме? — спросил Алексей Васильевич, неожиданно появляясь в дверях, и Наташу опять неприятно поразил какой-то фальшивый оттенок в его голосе. «Можно ли до сих пор сердиться!» — воскликнула она про себя, потом рассказала о ревнивом караульщике. Алексей Васильевич выслушал, зевнул и попросил Агашу подавать ужин.

— Скотина, — добавил он по адресу Максима.

— Но это так невозможно оставлять, — вдруг разгорячилась Наташа, — необходимо вмешаться, необходимо усовестить его. И, главное, если бы были причины, но ревновать к своей руке, к запаху...

— А если бы были причины, ты находишь — можно ревновать? — насмешливо спросил Струков, но тотчас же изменил тон и торопливо добавил, удаляясь в столовую: — Как знаешь, как знаешь. Я не могу вмешаться. Это было бы смешно.

— Но ведь он бьет эту несчастную Фросю...

Пойми — бьет! — говорила Наташа, идя за ним.

— Черт меня дернул посылать его к Веденяпину. Но Веденяпин давно мне говорил, что у него превосходной системы ульи, и не как в Апраксине, а очень простой и дешевой конструкции. И обещал дать. И потом, надо было, чтоб растолковали, как обращаться с ульем... Кого же оставалось послать, кроме самого Максима?

— Миленький мой, ты точно оправдываешься. Разумеется, ты не виноват. Но я завтра же пойду будто бы на пчельник и поговорю с ним. И с нею надо поговорить. Мне кажется, она дразнит его.... И вообще какой-то странный брак. Ты заметил ее? Она прехорошенькая.

— М-да, кажется... Ну, расскажи, как нашла доктора, — действительно авантюрист?

— О, нет!.. Я думаю, он очень хороший доктор, и, кроме того, очень несчастный, и очень оригинальный человек. Да что ты все ходишь и такой странный, Алеша? Ну, я виновата была вчера, ну и довольно...

Агаша поставила приборы, вино, блюда с

холодным кушаньем, принесла кипящий самовар и удалилась: по принятому обычаю, чтобы ночью не беспокоить прислугу, со стола прибирали только утром.

Алексей Васильевич сел, налил и выпил залпом стакан вина.

— Ого, сколько превосходства, — сказал он, принимаясь за еду, — настоящий герой романа... Мельмот-скиталец!.. Смотри, не влюбись.

— Какой вздор! — воскликнула Наташа и весело добавила: — А ты ревновал бы? Как Максим?

По лицу Струкова пробежала тень.

— Я давно считаю ревность свойством зверей, а не людей. Пожалуйста, помни это, — сказал он серьезно и еще выпил вина.

Наташа с удивлением взглянула на него: он никогда не пил так много и так часто, потом стала рассказывать подробности своей поездки, умалчивая, однако, о своих настроенных и чувствах, о «глупых» словах, вырвавшихся у ней перед отъездом из Апраксина. Скоро Струков совсем развеселился, заговорил обыкновенным голосом, с обычным открытым выражением на лице... «Наконец-то

сломался лед!» — подумала Наташа, и это так ее обрадовало, что она уже не обратила внимания, как Алексей Васильевич еще и еще выпил вина и как в его глазах засветился преувеличенно ласковый, ненатуральный блеск.

— Нет, право, Наташа, — говорил он с игривым оживлением, — попробуй, влюбись в Бучнева. Я хотел бы испытать себя... Живешь, живешь, а иногда ужасно хочется бури... — И шутливо продекламировал:

Буря бы грянула, что ли,
Чаша с краями ровна!

— Так разве о такой буре говорится в этих стихах? — смеясь, сказала Наташа.

— Ну да, конечно... Но та не от нас. Той нет и не будет. «Все молчит, бо все благоденствуете», — сказал и предсказал Шевченко. Между тем как личная, лирическая буря...

— Ну, миленький, и такая не от нас!

После ужина они перешли в кабинет... Наташа вышла оттуда на рассвете. В столовой шторы были не спущены и ее встретил какой-то ржавый, скучный, с серыми тенями полумрак. В нем отчетливо и грубо выделялся беспорядок на столе, — остатки еды, засален-

ные тарелки, захватанный стакан с бурой жидкостью на дне, смятые салфетки... Наташа содрогнулась от отвращения: ей показалось, что и в ее душе также захватано и засалено, такой же беспорядок. То, что она смутно чувствовала в Апраксине и что исчезло, когда подъезжала к хутору, сменившись радостью от детей, от дома, от примирения с мужем, теперь вдруг возвратилось к ней, и не в виде загадочного настроения, а в определенном сочетании мыслей, отчетливых и жестоких. Это были те самые мысли, которые кто-то ужасный в ее душе нашептывал и прежде, — еще в Париже; когда она осталась без школы; когда втайне наблюдала за остывающей деятельностью мужа и сама остывала; когда страстное отношение к детям перестало удовлетворять ее. Это были мысли о том, что как на острове со своей душою, и вокруг непроницаемый туман, и угрожающее молчание в ответ на мольбы, на вопли, на отчаянный крик о помощи, и она не знает, куда и зачем идти.

Но никогда она не думала с такой режущей ясностью. Никогда ее не охватывало такое отвращение к самой себе и к той слепой и

соблазнительной силе воображения, что сделала из ее жизни цепь лжи — какую-то ткань условностей и недомолвок.

Она быстро подошла к окну, распахнула его... В комнату хлынула сырая свежесть, но и в роще, и в небе все было скучно и некрасиво. Где-то вдали усталым звуком надсаживался перепел. Часы однообразно стучали на стене. Из кабинета доносилось храпение Алексея Васильевича.

Это храпение оскорбляло Наташу, причиняло ей почти физическую боль, — как, впрочем, и все, начиная с болезненного рассвета и кончая мерзким ощущением усталости, стыда, чувством невыразимого ужаса перед загадками жизни.

Жизнь свою в Апраксине доктор повел так, что сначала его прозвали «блаженненьким». Он не ел мяса, вместо чая пил едва окрашенный кипяток, да и тот без сахара, не прикасался, кроме чрезвычайных случаев, к вину, сам чистил себе сапоги и убирал комнату, отведенную ему в особом флигеле, ходил, когда не было гостей, в стоптанных калошах на босу ногу, в балахоне сверх белья, целые дни проводил с крестьянскими ребятами, по целым часам кормил и ласкал собак и, покуривая трубочку, смотрел на их возню, изучал их характеры и нравы. За всем тем кличка «блаженненького» продержалась недолго. Манера его обращения, какая-то резонность в самых странных поступках и, главное, то, что он не «напускал на себя», а действовал и говорил с бесподобной простотою и смелостью, — все это так же подкупило дворню, как подкупало Перелыгина и Наташу, и детей, и впоследствии самого Алексея Васильевича. В отношении к дворне это было тем страннее, что он был скорее груб, чем ласков с нею, никого

не дарил, ни к кому не подлаживался, отнюдь не затевал дружелюбных разговоров или речей на «развивающие темы», не подлаживался даже тогда, когда приходилось обнаруживать свою слабость. Так, недели три спустя после приезда он самым обыкновенным и простым тоном заявил Поликсене, отправляясь ночевать к себе во флигель:

— Дайте мне, сестрица, водки. И завтра не присылайте за мной к чаю; я, должно быть, буду пьян. Когда пройдет — сам явлюсь.

Поликсена порывалась было воскликнуть от удивления, не оттого, конечно, что доктор захотел «кутнуть», а от непривычно прямых слов, но, взглянув на его холодное и спокойное лицо, не произнесла ни звука и торопливо исполнила его просьбу. И действительно, доктор целые сутки не выходил из своей комнаты, и ни в ком это не вызвало ни осуждения, ни насмешки... Правда, ни в ком не вызвало и жалости, кроме Наташи, которая, впрочем, узнала об этом позднее: когда Григорий Петрович «пил мертвую», она ездила в губернский город нанимать англичанку, отходившую от богатых помещиков Суковни-

НЫХ.

Лечил Бучнев много, но весьма несложно, «походя», как говорили в деревне. Делал небольшие операции, давал «глазные капли», прописывал баню, круто посоленную редьку, огуречный рассол, натирание водкой. Один раз чрезвычайное впечатление произвел исцелением «порченой» тем, что заставил ее заснуть и сонной приказал не вопить по церквям. Другую кликушу в самый разгар полевых женских работ услал на богомолье в Киев, и она воротилась не только здоровая, но и беременная, чего с нею никогда не бывало... Впрочем, необходимо прибавить, что особой популярности как доктор Григорий Петрович не приобретал: с ним советовались, но чаще всего шли за «настоящим лекарством» на земский пункт. Наташа, смеясь, говорила ему, что народ уже развратился: требует хины, салицилки, йодистого кали, касторового масла вместо старинных домашних средств...

Во всем Апраксине относились к доктору с прямым недоброжелательством лишь мельник Агафон да его цепная собака Турка. Этот Агафон, — кратко его называли — в глаза «де-

дом», а за глаза — «чертушкой», — был старик лет семидесяти, откуда-то из пермских лесов; Петр Евсеич взял его в Апраксино по особой просьбе знакомых старообрядцев. Он жил в избушке близ мельницы-ветрянки, питался ржаными сухарями, размоченными в ключевой воде, редко появлялся в усадьбе, никого к себе в избу не пускал и, пугая детей своим диким видом, внушал и взрослым какой-то суеверный страх. Только один Петр Евсеич в прежние годы, когда желал развлечься на особенный лад, захаживал к нему в избушку, и, если случались тогда на ветрянке помольцы, они бывали свидетелями удивительных вещей. Обыкновенно Агафон встречал хозяина с угрюмой почтительностью. Из избы слышен был вначале степенный разговор о количестве собранного помола, о кленовом дереве, нужном для цевок; о веретене, которое требовалось подварить; потом голоса мало-помалу возвышались, слышно было что-то о вере, о жизни в скитах, о блудном грехе; потом хозяин начинал смешливо всхлипывать и взвизгивать, и в ответ на это раздавался сердитый, удушливый, шамкающий крик мельника, из-

дали, чрезвычайно напоминавший хриплый и такой же удушливый лай Турки, и вдруг в дверях появлялся весь красный и сияющий от наслаждения Петр Евсеич, а за ним, толкая его в спину, вскосмаченный, разъяренный дед.

— Перевертень!.. Гог-Магог!.. Помёт антихристов!.. Сосуда дьявольская!.. Бес... бес... бес... — ругал он смеющегося хозяина, а иногда, не удовлетворившись этим, вне себя подбегал к Турке и кричал задыхаясь: — Держи его, христопродавца!.. — Кусь его!.. Взы его!..

Впрочем, когда дело доходило до Турки, Перелыгин тотчас же переставал смеяться, слегка бледнел и грозно замахивался на старика палкой. Как и все в Апраксине, Петр Евсеич боялся Турки. Да и нельзя было не бояться. Эта овчарка, бегавшая на блоке по канату, натянутому вокруг мельницы, была свирепа и сильна, точно дикий зверь, она никого не подпускала к себе, ни от кого не принимала пищи, кроме Агафона. Если дед, не закреплял к одному месту блок с цепью, на мельницу решительно нельзя было пройти; стоило показаться человеку даже во многих саженьях от

мельницы, как Турка приходила в неописанную ярость и с налитыми кровью глазами, с пеной у рта, с оскаленными клыками, острыми точно ножи, прыгала вдоль каната, становилась на дыбы, гремя тяжелой цепью; хрипела и закатывалась от злобы. Даже к деду она никогда не ласкалась, и когда он подходил к ней, в ее зловещих глазах нельзя было приметить ничего дружелюбного, лишь какая-то суровая почтительность устанавливалась в них, как у самого деда, когда он встречал хозяина.

Кроме Петра Евсеича, Агафон ни с кем не вступал в разговоры и не ругался, ни на кого не натравливал Турку. На всем его изрытом глубокими морщинами бесцветном лице лежало величайшее презрение к людям. С утра до ночи он, то весело, то злобно ухмыляясь, что-то шептал себе в бороду, чутко прислушивался к звуку снастей, следил за ветром, лазил с непостижимой для его лет ловкостью вокруг зубчатых колес, обстругивал запасные цевки, ковал жернова, смазывал шестерни, — держал мельницу в образцовом, по мнению мужиков — в колдовском, порядке. А ночью,

после скудного ужина, доставал кожаные четки, открывал в стене избушки продолбленное на восток отверстие и целые часы простаивал перед этим отверстием на молитве.

Вот этот-то старичок вместе со своей собакой до странности невзлюбил Бучнева. Доктор каждый день, утром и вечером, проходил мимо мельницы купаться, и каждый раз Турка с невыразимым остервенением лаяла на него, так натягивая канат, что он звучал как струна, а мельник выходил на порог и вместо приветствия озлобленно сверкал глазами из-под лохматых бровей, неприятно кривил беззубым ртом и кричал:

— Кузь его!.. Вззы его!.. Аль боишься, Гог-Магог?.. Попробуй, попробуй... она не выпустит черевы!..

Сначала доктор пробовал отделяться равнодушием и как ни в чем не бывало приподымал свой колпачок и говорил: «Здравствуй, дедушка!» — но получая в ответ неизменные дерзости вроде того: — «Какой я тебе, окаянному табашнику, дедушка... Твой дед — бес!» — перестал кланяться и очень заинтересовался этою беспричинною ненавистью. Он

подробно расспросил Петра Евсеича о старике, но тот знал только, что Агафон спасался в скитах, что в этих скитах было обнаружено нечто противозаконное, что отшельники по сему случаю разбежались и Агафон живет едва ли не по фальшивому паспорту... Все это до некоторой степени объясняло поведение мельника, хотя опять-таки было неясно, почему вместо обычного презрения он удостаивал доктора ненавистью.

Но еще больше, чем стариком, Бучнев заинтересовался собакой. Между его излюбленными мыслями была одна, которую он отстаивал с особенной горячностью: будто бы взглядом и внутренним напряжением воли, возможно укротить самое злое животное. Он говорил, что в грядущем это разрастется в науку и что надо буквально понимать пророчество Исайи, что «младенец будет играть над норою аспида». И вот однажды, возвращаясь с купанья, он на мгновенье остановился, потом твердыми шагами повернул к мельнице и спокойно погладил ошеломленную такой дерзостью Турку. Мельник так был поражен, что не вымолвил ни слова... Зато на другой

день опыт окончился печально: собака бешено вцепилась в икры доктора и вырвала порядочный лоскут мяса. Дед притворился испуганным, зашумел на Турку, прогнал ее в конуру, но Григорий Петрович, бинтуя разорванной простынею свою окровавленную ногу, явственно слышал его злорадное бормотанье и торжествующий сиплый смех.

— Ладно, старинушка, — сказал Бучнев, сделавши перевязку и выпрямляясь, — завтра приручу твою собачку.

Наутро дед не вышел на порог мельницы при виде доктора и не облаивал его неподобными словами, а, скрывшись за притолокой, следил за ним острым, почти сумасшедшим взглядом. И с таким же взглядом, с бледным, неестественно спокойным лицом медленно приближался доктор к овчарке. Турка сначала заливалась отчаянным лаем, в котором, однако, можно было уловить неуверенные ноты; потом стала рычать и жалобно взвизгивать, поджимала хвост, пятилась к конуре.

Через неделю она беспрепятственно подпускала к себе Григория Петровича, давалась гладить, смотрела на него с тем же выраже-

нием угрюмой почитительности, как и на старика; а старик каждый раз скрывался, заведя доктора, и все дольше простаивал на молитве перед отверстием, продолбленным на восток.

О всей этой истории узнали в усадьбе. Петр Евсеич хотя и говорил, что «поступлено вопреки рассудку», но так же восхищался смелостью доктора и всем о ней рассказывал, как восхищался и рассказывал, когда Наташа испортила ревизионную книгу. Наташа посмеивалась и советовала Григорию Петровичу наняться «укротителем» в какой-нибудь зверинец, — однако стала с этих пор относиться к нему почти с нежностью. В дворне решили, что штука очень простая — дока на доку нашел: дед «кочетинное слово» знает и доктор знает. Но самое огромное впечатление произвело усмирение Турки на крестьянских ребят, и в особенности на детей Наташи. В глазах Петруся и подражавшего ему во всем Алеши мельница с дедом Агафоном и с Туркой приобрела еще более фантастический характер, а «дядя Гриша» — они так называли с некоторых пор доктора — представлялся им ка-

ким-то «Егорием-Храбрым», к ногам которого кротко ложатся лесные звери. Петрусь даже выдумал для себя своеобразную игру, наполнявшую всю его маленькую душу чувством жуткого наслаждения. Перед вечером он украдкой убегал на опушку сада, близ которого, на выгоне, стояла мельница, прятался в густых кустах акации и с остановившимся дыханием ждал, что будет. И совершалась страшная сказка. Огромные руки с ужасающим треском и шорохом размахивали по воздуху; от них вдоль выгона бежали зловещие живые тени; избушка мигала своим единственным окном, то горевшим на солнце как раскаленный уголь, то тускневшим от падавшей на него тени; страшная Турка рычала, чутьем угадывая чужого; выходил страшный, весь белый, с лохматыми зелеными бровями мельник и бормотал, ухмыляясь черной пастью, и нюхал по ветру, и всматривался своими страшными глазами именно туда, где сидел притаившись Петрусь. Мальчик сжимался в комок, зажмуривался от ужаса, а когда открывал глаза, к мельнице подходил человек в белом, с трубочкой в зубах, с простыней

через плечо, — и старик быстро скрывался, а Турка переставала рычать, смиренно пошевеливала своим косматым, свалявшимся в войлок хвостом. Человек в белом гладил чудовище, давал ему какую-то еду, говорил, обращаясь к мельнице, какие-то непонятные слова, — может быть, волшебное приказание стать куда-нибудь «передом» и куда-нибудь «задом», — но это исполнялось долго спустя, а теперь из мельницы раздавался шипящий, змеиный голос.

— Уходи, уходи, Велиарище!.. Я тебе не пес... Раба божия не околдуешь!..

Иногда к неудовольствию мальчика у мельницы стояли нагруженные подводы, стреноженные лошади ходили по выгону, мужики сгорбившись таскали кули, смеялись, разговаривали, — и вместо сказки было самое обыкновенное, отчего ничуть не страшно и надоедало сидеть в акациях.

Наташа все чаще гостила с детьми в Апраксине. Иногда какое-то странное чувство, не то ревности, не то особого любопытства, влекло туда и Алексея Васильевича... Но большею частью он оставался на хуторе или

брал недавно приобретенное ружье и без собаки бродил по оврагам и мелким зарослям, не столько стреляя дичь, сколько на новый лад наслаждаясь картинами природы, простором и свободой.

Раз, запоздавши в своих скитаниях, он увидел в поле огонек и пошел на него, продираясь сквозь кусты, в которых, пофыркивая и хрустя травой, паслись лошади. Костер был разведен на чистой поляне. Не дойдя до него несколько шагов, Струков с удивлением остановился, стал смотреть и слушать. В разных, позах лежали и сидели вокруг белоголовые, рыжие, темно-русые крестьянские дети, и между ними загорелый, запачканный, в смятом картузишке Петрусь. За ними виднелись свернувшиеся в клубок три или четыре собаки. Близ костра стоял большой медный чайник, лежала на лопухе кучка мелко наколотого сахара, и Бучнев, в своем балахоне, в сдвинутом на затылок колпачке, с неизменной трубочкою в зубах, наливал в блюдечки чай, подавал по очереди ребятам — блюдечек было только три — и самым серьезным образом, точно со взрослыми, разговаривал с ними.

Недалеко виднелся ворошок свежесрезанной лозы и наполовину сплетенный кубарь.

— А как же, дяденька, кубарь-то будем ставить, — ведь рыба-то, чать, перельгинская? — тоненьким голоском спрашивал белоголовый мальчик, аккуратно схлебывая с блюбочка желтоватую жидкость.

— Что ж, что перельгинская, — ответил доктор, — можно и его в часть принять.

— Известно в часть, — подтвердил солидный, с огненными вихрами и с бесчисленными веснушками на лице мальчик, — мужики косят из третьей копны, и мы, пожалуй, третью рыбу ему отдадим. Вот Петрай и получит дедову часть.

Петрай, то есть Петрусь, очевидно, ничего не понял, но с достоинством поправил свой картузишко.

— Лучше по весу разделить, — заметил доктор, — счетом рыба не равна, выйдет ошибка.

Кое-кто согласился, но веснушчатый возразил:

— Экость какой! Ты разверстай на три кучки, и пусть берет любую. Без обмана. А то еще

с весами станешь вожжаться. На весах завсегда обман.

— Дядя Гриша, — сказал Петрусь, солидным движением принимая из рук доктора блюдечко с чаем, — разве караси дедушкины? Караси живые, и потом их жарят... И потом их надо ловить. А дедушке привозят из города сардинки и еще кислую осетрину... разве это похоже? А?.. Я возьму, но я боюсь, что это глупости. Дедушкина рыба в коробках.

— Если думаешь — глупости, не бери, — сказал доктор.

— Речка-то, чать, на вашей земле, ну и рыба ваша... беспонятный! — сказал тот, что с веснушками.

Но тут торопливо подхватил дребезжащий, назойливый голос нового мальчика:

— Ишь бают, не ихняя земля, а была барская, а теперь наша. А они взяли да захватили. Откуда вы, ну-ка сказывай? Ага, вот и не знаешь.

— Я — мамин... и еще папин... и дедушкин, — запинаясь ответил Петрусь.

— Ага! А мы здешние и земля здешняя, и речка, и лес... А вы рябого солдата наняли.

Вот надобно нам оглобли, а батя говорит: баба, дай два двугривенных. А мамушка говорит: где я тебе, народимец, их возьму. А батя говорит: Сёмка, айда в барский лес, я буду рубить, а ты стереги. Вот стал батя рубить, а я стеречь, и говорю: батя, рябой солдат увидал. Вот мы с батей пустились бежать, а солдат за нами. Глядь, навстречу — Апроська, солдатова жена... с туеском... с ягодами. А мы с батей бежим, а солдат окоротился. Мы обернись, а он туесок-то вышиб, да за косы ее, за косы... Так и убежали.

Все засмеялись, в том числе и доктор своим «идиотским» смехом.

«Мерзавец!» — подумал Струков про Максима и, вспомнив, что Наташа так и не поговорила с этим дикарем, гневно стиснул в руках ружье и пробормотал: «Фразы... Только фразы!..» Но через мгновение стал слушать с прежним вниманием, испытывая особое наслаждение от бесхитростных детских речей и от того, как вел себя Григорий Петрович.

— Вам бы надо притаиться, — сказал доктор.

— Экося, братец, испужались! — ответил

Сёмка.

— Видно, не свой лес, а заплати деньги — будет свой, — сентенциозно пропел тоненький голос.

— Да чьи деньги-то? — горячо возразил Сёмка. — Деньги царь делает. А мы царевы мужики, а они — самовольники: землю не пахут, подать не выплачивают.

— Я тоже буду царев мужик, — вдруг заявил Петрусь, обидчиво собирая губы.

— Теперь все царевы, — примирительно сказал веснушчатый, — а допрежь были барские. Дедушка сказывал, на конюшне тогда секли. Теперь в волостной, а при господах на конюшне. Дедушку семь разов секли.

— Вот Ерёмкиного отца намеднись отодрали, — сказал кто-то из толпы.

Ерёмка, чернявый и необыкновенно грязный, лежал на животе и задумчиво смотрел на огонь, от времени до времени помешивая в нем хворостинкой. Услыхав про отца, он вспыхнул до слез и застенчиво проговорил:

— Ничего... Батя говорит, не дюже больно...

Доктор погладил его кудлатую головенку и

сказал:

— Конечно, ничего. Меня в училище драли. Надо кусаться. Я прокусил палец учителю, он и бросил.

Все опять и на этот раз с особенным удовольствием рассмеялись, даже развеселившийся Ерёмка.

Не детская боль в лице Ерёмки, когда упомянули о высеченном отце, выражение доктора, когда он погладил мальчика и неожиданно посоветовал кусаться, громкий ребячий смех, в котором, ничего не понимая, но гордясь «дядей Гришей», принимал участие будущий «царев мужик» Петрусь, — все это тронуло Алексея Васильевича до глубины души. «А, какой это, однако, тонко чувствующий и сердечный человек!» — воскликнул он про себя и вышел на огонь.

Возник маленький переполох. Собаки бросились с дружным лаем; ребята стали их отгонять и успокаивать; Петрусь радостно закричал: «Папа!.. Да это же папа... Не надо бояться!..»

— Я давно вас наблюдаю, — весело сказал Алексей Васильевич, целуя сына и крепко по-

жимая руку доктора, — и, позвольте признаться без церемоний: успел полюбить вас в эти четверть часа. Как вы достигли такой умилительной простоты отношений!

— А я, папа, в ночное пришел, — перебил Петрусь. — Я ночевать здесь буду. Мама позволила ночевать с дядей Гришей.

— Ты?! Ночевать?! — воскликнул Струков, и вдруг нехорошее чувство шевельнулось в нем. — Вот как вы сумели овладеть доверием Натальи Петровны, — сказал он Бучневу, притворно улыбаясь, — давно ли мы на выстрел не подпускали «народ» к нашим детям!

— Я — доктор.

— Да, это правда. И я очень рад. Поверьте, очень рад... и за детей, и за Наташу. Ну, господа, садитесь и ложитесь по-прежнему. Позвольте мне чаю, Григорий Петрович. Гм... не думаете вы, что из одного блюдечка можно схватить кое-что?..

— Нет. Тут почти все сифилитики, но все в безопасной форме. Не бойтесь.

— А, тогда конечно... Что же вы, господа? Идите. Как у вас хорошо! Я тоже ночую здесь... Помните, доктор, Бежин луг? Только

там не было таких интересных, но, в сущности, ужасных разговоров...

— Чем ужасных?

— О розгах, о своеобразной политической экономии, о краже как о нормальном явлении. И все это из уст детей. Потом, согласитесь, страшно слышать, что почти все сифилитики...

— Такова жизнь.

— Но ужасная, Григорий Петрович!

— Не все ли равно? Всякая кончится разложением, — я хочу сказать: в пределах материи.

— Но что же станется с Россиею!

— Сопьется, я думаю.

— Ну, с этим-то я не согласен. Эти толки о пьянстве...

— Какие толки. Дайте мне сто рублей — ручаюсь, спою любую деревню. Старики, молодые, женщины, дети — все сопьются. И все будут делать, что прикажу.

— Но вы знаете, конечно, что по статистике...

— Да, потому что водка — пять целковых. Надо начать с дешевой, с даровой. Баб, девок,

детей и тех, про которых говорят — «в рот капли не берут», надо растравить наливкой... Утверждаю — все «устои» сдвинутся. И легко. Внутренней преграды никакой нет. Тесто. Помните, кто-то находил в разиновщине что-то сверхчеловеческое, демоническое? А это просто была водка. Будь Степан Тимофеевич немец, он бы все Поволжье закабалил на фабрику, но так как он был такой же русский мужик, то и сам спился. То же и Пугачев.

— Вы просто не любите Россию.

— И нечего в ней любить.

— Однако я вас застаю в ночном, в чисто русской, в тургеневской обстановке...

— Могли бы застать в Америке, в Англии, в бретгартовской, в диккенсовской обстановке. Я люблю... как вы давеча выразились, — простоту, да еще умилительную. С детьми и с животными это легче всего.

— В этом, пожалуй, вы правы. Помните у Глеба Успенского? «Па-а-ршйвая цивилизация!..» Какой воздух!.. Как восхитительны эти нежные звезды!.. И дрожащий отблеск от ко-стра... И силуэты лошадей на темной синеве неба... И запах точно живая вода... Господа!

Мальчики! Что же вы не идете?

Но «господа» шушукались и держались в отдаленье. Одни плели кубарь, другие ушли к лошадям, кое-кто расположился на ночлег... Петрусь сидел на корточках, около кубаря и — увы! — Алексей Васильевич слышал, как радикал Сёмка говорил ему подобострастно: «Вы, Петрушенька, подальше... тут дерьмо... сапожки замараετε...» Было ясно, что неожиданный гость всем помешал, всем испортил настроение. И Алексей Васильевич чувствовал это... Но ему ужасно не хотелось уходить. Как-то хорошо и дружелюбно волновалась его душа, и в ее глубине таилось предчувствие, что эта полоса свежести, доброты, симпатии захватит и Григория Петровича. И, посадив к себе на колени начинавшего дремать Петрусья, он заговорил с доктором о своей молодости, о гимназии, об университете, о заграничной жизни, о некоторых общих знакомых конца восьмидесятых годов и в конце концов, почти бессознательно, о женщинах и о женской любви. Бучнев сначала больше слушал, но мало-помалу оживился чрезвычайно, хотя и невеселым оживлением. В противополож-

ность Струкову, он ничем хорошим не вспоминал старого времени, соглашаясь, однако, что и новое время скверно. Его определения людей, событий, общественных настроений, господствующих идей были язвительны и беспощадны. О женщинах он сказал, что допетровские моралисты правы, ненавидя их наряду «с пьянством, табачным зельем и игрою в бубны и сопели»; что это останется правдой до тех пор, пока будет существовать предрассудок романтической любви, — то есть вечно останется для большинства и исчезнет для избранных; что для избранных любовь не наслаждение и не двухспальная кровать, а закон механики, по которому соединенные и целесообразно скомбинированные силы легче поднимают тяжесть; что физиологические подробности не должны иметь места в настоящей любви, и лучше совсем без них, а если нельзя, то пусть самка выбирает самца, а не наоборот, как это принято у людей.

— Но что вы скажете о так называемых изменах? — спросил Струков, понижая голос, как это он делал во время, когда говорил о

женщинах и о любви: его почему-то стесняло присутствие Петруся, хотя тот давно уже спал. — Не в вашем, не в идеальном браке, а в нынешнем?

— Какой идеальный брак! — воскликнул доктор, не отвечая на вопрос. — Это все равно что холодный огонь, сухая вода... Я этого не говорил. Я думаю, так лучше то, что вы называете моим идеалом, но, во-первых, все-таки скверно, а во-вторых, это у меня в голове, но в действительности, через сто, через тысячу лет может случиться совсем не там.

— Ну да, ну да... Но что вы думаете о так называемых изменщиках и изменщицах? — повторил Струков с притворной пугливостью, подчеркивая неграмотные слова.

— То же, что о лгунах... Зачем?

— Однако, согласитесь, бывают обстоятельства... Вы давеча солгали же... о прокушенном-то пальце!

— А! Совершенно верно. Благодарю вас. Да, я думаю, лгать не надо, но если иначе нельзя... Не знаю. Отказываюсь судить.

— Значит, действовать по внутреннему чувству? Без правил?

— У каждого свой демон, Алексей Васильич. То есть я не о библейском говорю, а какой был у Сократа. И это меня мало интересует.

Струков еще хотел что-то сказать, но только тоскливо поглядел на померкавшие звезды и глубоко вздохнул. Посмотрел вслед за ним ввысь и доктор, и тоже вздохнул, потом заговорил о другом. Алексей Васильевич не сразу стал слушать это другое. Он продолжал додумывать свои мысли о женщинах и о любви и немножко досадовал, что Бучнев прекратил этот разговор... Но постепенно слова доктора, новый звук его голоса, его лицо, странно выделявшееся в предрассветном сумраке, и вся какая-то сгорбленная, осунувшаяся фигура приковали внимание Струкова. Доктор говорил теперь медленно, с длинными паузами, в неопределенных и несвязных выражениях, очевидно совсем не заботясь, слушают ли его и поймут ли как следует. Алексей Васильевич думал, что понимает, и, к удивлению своему, испытывал двойственное, неправдоподобное впечатление от слов доктора. Одною стороною своего существа он ясно видел, что это

либо возмутительные, либо отсталые, детские, давно похороненные мысли — «времен Очакова и покоренья Крыма» — в философии, как он выразился про себя, но с другой стороны эти же самые мысли приобретали убедительность в его глазах, и он содрогнулся от жалости к доктору и к самому себе. В первом случае он слушал, как читал книгу, не думая об авторе; во втором — «парадоксы и анахронизмы» нераздельно сливались с унылым звуком голоса, с тем невысказанным, что чудилось Струкову в этой обнаженной голове с оригинальными выпуклостями на лбу, в этих резких чертах, смягченных страдальческим раздумьем, и в неуверенном полусвете возникающего утра, и в гаснущих звездах, и в задумчивой тишине окрестности. Мир представлялся доктору едва ли не бессмысленным и, наверное, неизъяснимым сочетанием «психо-физического» вещества, бессмысленно упавшего в пространство, без цели возросшего в капризной сложности форм, в самодовлеющем совершенстве. Кажущаяся закономерность этой игры — хрупкая выдумка людей, подвигаемых чувством скрытого отчаяния.

То, что в выдумке называется «точными науками», годится куда-нибудь: ну хоть для того, чтобы где-нибудь под Седаном перебить в несколько часов несколько тысяч человек, или объехать кругом света в три месяца, или изобрести телефон, или узнать, что чудо не в трех китах, а в тяготении. Но из того же отчаяния произошли все гуманитарные дисциплины, все культы, все «узлы общежития», и за всем этим нет никакой объективной цены.

Одно имеет такую цену, это — самоотчаяние.

Оно замаскировано фикциями, — моралью, религией, наукой, общественным благом. Оно утоляется наркотиками, — вином, любовью, хмелем власти, славой, красотой. Оно загромождено невежеством, трусостью, предвзвешенными рассудками...

Цель разумной человеческой деятельности — освободить его из скрытого состояния, раскидать хлам, распутать узлы, крикнуть на весь мир: «Да, все условно. Все подставлено, как делают в арифметических задачах с неопределенным решением, как в химии с теорией атомов. Правда в том, что мы безза-

щитны и одиноки».

— Мы страшно одиноки, — тихо говорил доктор. — Как дети, брошенные в лесу, мы то жмемся в кучку от страха, то, забывая все, бросаемся с радостным смехом на ягоды, то населяем зловещую тишину леса живыми существами, добрым волшебником, великодушной феей. А лес тянется без конца. Выйдем из одного, вступим в другой — в такой же безмолвный, бесконечный и необъяснимый. А если бы то, что называют бессмертием, была тайна... Но это — холодная, определенная, серенькая, как осенний день, действительность... Почему, если там ждут чего-нибудь, то ждут совсем другое? Мне говорил один чуждак в западных штатах, будто невыразимое в человеческой душе выразится там в формах и звуках, и это — рай. Он говорил справедливо. Нет блаженства, нет наслаждения выше тонкой, как предчувствие, как едва уловимый аромат радости, от чего бы эта радость ни возникла. Но, кроме невыразимой радости, в человеческой душе пробегают тени таких чудовищных замыслов, возможностей и мечтаний, что если тени станут формами и звуками

ми, Дантов ад — игрушка в сравнении с этим... Не думали вы, как это ужасно? Не грезились вам эти формы?.. Эти звуки? Все равно. Надо раз навсегда понять это, и когда поймешь, надо говорить, надо делать... или застрелиться, если скучно.

— Может быть, самое интересное — застрелиться?

— Слушайте. Из всех так называемых благ и радостей жизни нет слаще блага и радости самоистребления.

— Самоистребление, это — свобода. Вы были в тюрьме? Нет? Вы, значит, не знаете того ужасного чувства, когда щелкнет замок и вам нельзя выйти? Это самое ужасное в тюремном заключении. И самое радостное в освобождении из тюрьмы: дверь отперта, иди на голод, на холод, на смерть... Куда хочешь...

— Вот почему возможность убить себя — единственное неподдельное счастье.

— Не будет ли эта возможность там?

— О, это был бы отличный случай пересмотреть все инстанции... — Бучнев невесело рассмеялся и, поднявшись во весь рост, проговорил, указывая на небо: — Вон видите, самая

красивая из них — Большая Медведица — померкла!

Алексей Васильевич посмотрел на едва приметные искры созвездия, взглянул на измученное, жалкое, с распавшимися чертами лицо доктора, неожиданно для самого себя всхлипнул от внезапно подступивших слез и тихо сказал:

— Ах, дорогой мой, какие мы все несчастные... и больные!

После встречи и разговора в ночном Струков чаще стал бывать в Апраксине, и когда бывал, — один ли или с семьей, — непременно заходил к доктору и подолгу просиживал у него. Но отношения между ними не делались проще от этого сближения, напротив, все более приобретали характер, какой-то странной и болезненной путаницы. Струков сам не отдавал себе отчета, что его влекло к доктору, какие были чары в этой «опустошенной душе», как он называл Бучнева после той ночи... И тем более не отдавал отчета, что втайне чувствовал, как наряду с этим влечением в нем тлеет настоящая ненависть к Бучневу, быть может разросшаяся из первоначальной антипатии, — ненависть к его лицу, к голосу, к походке, к смеху... Особенно к смеху... Иногда по какому-нибудь ничтожному поводу эта ненависть вспыхивала, сказывалась в мимолетно брошенном взгляде, в интонации, в язвительном замечании, в невольном содрогании мышц на лице Струкова. В это время он готов был грубо оскорбить док-

тора, с наслаждением воображал, что вот еще мгновение, и он вызовет его на ссору, унизит, потом убьет на дуэли, отомстит за эту неизъяснимую потребность в свиданиях с ним, в откровенных разговорах, в излияниях... Замечал ли Бучнев такое к себе чувство — неизвестно, но при встречах с Алексеем Васильевичем на его лице все чаще появлялось выражение сдержанного любопытства, а в разговоре звучали мягкие ноты, уступчивость, снисходительность. И обыкновенно это действовало, как бальзам, на больное сердце Струкова, хотя в особенно злые минуты, в свою очередь, раздражало.

Впрочем, в столь мучительной сложности отношений не одна только личность доктора играла роль. Наташа день ото дня отдалялась от Алексея Васильевича; Петр Евсеич делался раздражительнее и придирчивее; были и еще причины, уподоблявшие душевное состояние Струкова своего рода безумию, и, как это ни странно, из таких причин немаловажную роль играла погода.

Вторая половина лета стояла в тот год жаркая, ветреная и сухая. По неделям в воздухе

стоял приторный запах гари, висел туман, сквозь который точно кровавое око светило солнце... Говорили, что где-то за Волгой горят леса. На выжженной отаве, на пыльных и раскаленных полях с грубой и редкой растительностью скотина изводилась от бескормицы. Урожай вышел недурен, но зерно, захваченное горячими ветрами, получилось щуплое и легковесное. Заработки были плохие: голодные стаи татар из Казанской губернии наперебой понижали плату за жнитво, другие же работы оплачивались дешево потому, что на пристанях стояла непонятная низкая цена на хлеб. Самые предусмотрительные из крестьян и помещиков угадывали, что следовало бы удержать хлеб до будущего года, но совершенное отсутствие денег у тех и других и предстоящая нужда в этих деньгах для осенних податей, для расплаты с рабочими, для взносов в банк заставляла самых предусмотрительных заваливать рынок. Волей-неволею возлагали надежды на хороший сев, на то, что будущий год «сам себя прокормит».

Однако и в обычное время озимого посева засуха продолжалась. Настроение в деревнях

с каждым днем становилось унылее. Начинали вспоминать самарский голод двадцать лет тому назад и, как всегда накануне действительных или воображаемых бедствий, всюду возникали старые и вновь сочиняемые неизвестно кем легенды. Земля, по обыкновению той местности, едва всковыренная под озими, походила на золу. Одни, руководясь старинной пословицей, запахивали семена «в золу да в пору», другие ждали дождя... И все с одинаковым усердием и тоскою служили молебны на полях, устраивали крестные ходы, смотрели на небеса, следили за тем, не переменится ли ветер... Но ветер упорно дул из Азии. Иногда забредала случайная тучка, лениво рокотал гром, лениво падал дождик. На короткое время унималась убийственная пыль по дорогам, переставали крутиться зловещие «чертовы свадьбы» — вихревые столбы, там и сям показывались вялые, худосочные всходы... И опять наступал зной с жгучими юго-восточными ветрами, с туманом в воздухе, с пристальным взглядом багрового, страшного, точно угрожающего ока.

В окрестностях Апраксина вместе с бродя-

чими легендами стали распространяться свои, особые слухи. Говорили о том, что «небеса замкнулись» от новых землевладельцев — от их будто бы таинственной веры, от неслыханных отношений к народу, похожих на соблазны «антихриста». Так как будто затихшие толки, что когда-то с легкой руки «загадочного незнакомца» волновали Межуево, теперь снова поднялись и снова в отношениях деревни «господа» стали замечать какую-то скрытую враждебность, — Наташа с равнодушной покорностью, Струков и Петр Евсеич с необыкновенным раздражением, хотя, по обычаю, не соглашаясь друг с другом ни в оценке этой враждебности, ни в том, как бороться с нею.

Струков, впрочем, мало спорил; ему было не до того; все в нем трепетало от какого-то странного душевного беспокойства; какая-то потребность беспрестанного передвижения овладела им, и если он довольно часто бывал теперь в Апраксине, то еще чаще ездил в губернский город или, оставаясь один на хуторе, шел на пасеку, до утомления бродил по полям. А в то время, когда не ехал куда-нибудь и

успевал ходить, жадно перечитывал и старые и новые книги, лишь бы не оставаться наедине с самим собою, лишь бы заглушить свое вечное беспокойство. Давно приобретенная способность делать, говорить и даже думать без всякой связи с тем важным, неподкупным и беспощадным, что таилось где-то на дне его души, эта способность все больше изменяла ему в последнее время. Бывали теперь дни, и особенно долгие бессонные ночи, когда насильственно схороненные мысли всплывали перед ним почти в осязательных очертаниях с таким упорством, как будто являлись откуда-то со стороны, точно их наносило ветром из пространства. Он с испугом уклонялся от них, как от разозленных пчел, когда бывал на пасеке; делал вид, что не замечает их злоеющего жужжания; притворялся, что ему некогда, что в другое время, не теперь, он готов выслушать их и, если нужно, отдать отчет. И в доказательство того, что действительно некогда, торопливо принимался думать о только что прочитанной книге, проводившей совершенно новый взгляд на реформы Петра, о любопытной журнальной статье, перечис-

лявшей новейшие завоевания в области астрофизики, о критиках на один роман и о критиках на эти критики; воображал даже то, что всегда ему чудилось за кулисами этих «критик на критики» — и что всегда смешило его: охрипшие голоса, растрепанные шевелюры, сбитые набок галстуки... одним словом, все то, что бывает, когда дело не в уязвленных самолюбиях, а каждому дорога истина. Но — увы! — ни смешное, ни интересное не отгоняли душевной грозы... И он спешил перебежать к самым текущим, неотложным своим делам, думал о новой поездке в город, о журфиксе у Стишинских, о реферате для сельскохозяйственного общества, о предстоящей борьбе с управой на земском собрании, воображал себя в приятном положении оратора, награждаемого рукоплесканиями из-за колонн или признательными улыбками дам на журфиксе, вызывал в памяти другие приятные картины — детство, молодость, сближение с Наташей... Все напрасно. Язвительные мысли о том, что жизнь его тускла и проходит в непрерывном предательстве и самообмане, и что он не тот, что прежде, и что все

это уже невозможно поправить, — эти мысли разрывали на части его сердце. И если это случилось ночью, на хуторе, он вскакивал с постели, с отчаянием хватался за голову, до изнеможения ходил по комнате и наконец пробирался к буфету, брал оттуда бутылку хереса — свое любимое вино — и пил до тех пор, пока и в голове, и в сердце не наступала блаженная, безразличная пустота... Тогда ложился и засыпал свинцовым сном.

Кроме хереса и вот этих назойливых передвижений с места на место, были у Струкова и другие отвлечения от одиноких мыслей. Эти отвлечения тоже на свой лад опьяняли, хотя, в свою очередь, вели к мучительным мыслям... Одно обстоятельство в особенности опьяняло, и мучило, и напрягало нервы, как у охотника за крупной и опасной дичью. Приходилось висеть на волоске от постыдной развязки, от скандального перелома в привычном складе отношений, может быть — даже от смерти... Другое обстоятельство заключалось, как я уже сказал, в странных чувствах к доктору, — в обостренном наблюдении за ним и Наташей, не в том грубом смысле, ко-

нечно, как наблюдал солдат Максим за своею Фросей, а в том, чтобы отмечать возраставшую между ними дружбу и выслеживать в себе самом процесс своеобразной ревности, великодушия и любопытства. И наконец третье, тоже довольно жуткое и возбуждающее обстоятельство находилось в связи с новым судебно-административным институтом.

Введение этого института вскоре ожидалось. В губернский город съезжались кое-кто из бывших посредников, мировых судей и неперменных членов и, разбирая принципы и практические подробности нового закона, совещались друг с другом и с самыми видными представителями местной интеллигенции, принимать ли места земских начальников или нет. Большинство находило, что лучше дать дорогу новому вину, — решительным и расторопным молодым людям, уже обозначившимся на горизонте губернии. Так же думал и Алексей Васильевич. И мало того, что думал, но, появляясь в городе, на частных совещаниях и журфиксах, выступал с такой блестящей и остроумной критикой, что ее как образцовую с восхищением подхватыва-

ла городская интеллигенция во главе с Яковлевыми и Стишинскими. А с другой стороны, он сам очень хотел взять должность земского начальника и искренне был убежден, что без всяких личных видов. Правда, денежная зависимость от жены мучила его в последнее время нестерпимо; правда и то, что без власти он все больше чувствовал себя как без рук в отношениях своих с крестьянами и с такими их притеснителями, как Юнусов, прямее сказать — скучал без власти. Однако не 2200 рублей жалованья и не внешний авторитет должности соблазняли его, а то, что в крестьянском самоуправлении и суде действительно совершались вопиющие злоупотребления и беспорядки. Ему грезилась возможность изгнать розгу из практики волостных трибуналов, подобрать хороших судей, писарей и старшин, ослабить влияние мироедов, уничтожить систематическое общинное пьянство. Затем он с значительной долей злорадства воображал переполох Юнусовых и отцов Демьянов — и думал, что именно во всеоружии благотельно направленной власти можно с успехом бороться с тайной враж-

дебностью деревни и уничтожать нелепые легенды и слухи... Таким образом, вопрос был для него не в том, хорош или неудачен новый закон, — тут никакого вопроса не было, но в том, чтобы стать земским начальником и чтобы все, самые либеральные люди, были также искренне убеждены, как он сам, что он по-прежнему последовательный, бескорыстный и очень независимый человек.

И именно потому, что он не хотел лицемерить, а только убеждать «на почве фактов», и убеждать только в отношении к себе и к своей местности, ему предстояла тонкая, хлопотливая и деликатная работа — не дома, а на журфиксах и совещаниях.

Дома Наташа отнеслась к этому с совершенным равнодушием, и лишь по едва уловимой тени, промелькнувшей в ее глазах, когда Алексей Васильевич сообщил о своем намерении, он мог догадаться, что у нее на этот счет свои, особые мысли. Зато доктор заступился за Струкова — впрочем, тоже с особенной точки зрения и вовсе не желая заступаться.

— А вы, дядя Гриша, пошли бы в земские

начальники? — спросила Наташа.

Это было на террасе апраксинского дома в один из знойных, туманных дней с пепельным небом, с багровым пятном вместо солнца.

— Зачем же? Это такая же моя специальность, как, например, философия; я не юрист!.. — ответил доктор.

— Да, но если бы ваша специальность была философия, вы бы, конечно, не затруднились стать профессором?

— Никакой не вижу разницы между профессором и земским начальником.

— Ой, миленький, как хватили! Но в чем же сходство-то?

— Жалованье, производство, мундир, начальство.

— Но деятельность... Деятельность-то разная!

— Все та же, — служба. Одно звено ювелирной работы, другое — попроще, из кузницы, а в общем неразрывная цепь или мрежи, или то, что по-немецки называют Polizeistaat... [15] Так, что ли, определяется государственный союз, Алексей Васильевич?

— Нет, не так, — небрежно улыбаясь, сказал Струков.

— Да термин-то? Научный-то термин?

— И термин не так. Rechtsstaat [16] или Verfassungsstaat[17]. Вот, если хотите, научное определение, да и к тому делаются серьезные поправки по мере вновь выясняющихся целей и задач государственности.

Петр Евсеич потребовал объяснения и, узнав, в чем дело, раздражительно всхлипнул и пробормотал на своем раскольничьем жаргоне:

— Одинаковая вавилонская блудница!

Наташа сочувственно улыбнулась. Внутренне негодуя и на нее, и на Петра Евсеича, Струков сделал, однако, вид, что не обращает на них внимания, и с усиленной небрежностью обратился к доктору:

— Во всяком случае, ваши «мрежи» не соответствуют ни действительности, ни науке права. Разве в том смысле, что в них уловляются дурные страсти и эгоистические интересы? Вспомните сказанное Гоббсом о естественном состоянии: «bellum omnium contra omnes»[18], — и опровергните, если можете. А

раз не можете — «цепь» и необходима, и благодетельна. И участвовать в ней в качестве «звена» не так уж зазорно, как все вы тут думаете, — добавил он, не удержавшись. И еще добавил с возраставшей досадой: — А главное, — чтобы судить, надо знать... по крайней мере, настолько, чтобы кстати употреблять термины.

— Ну, миленький, ты просто становишься невозможным! — быстро вмешалась Наташа. — Кто говорит, что зазорно? И потом, чтобы сказать тепло или холодно, неужто надо проштудировать физику?

— Нет, что же, это правда, что я не юрист, — проговорил Бучнев, бросив мимоличный взгляд на Струкова, — но и то правда, что в естественном состоянии бивали друг друга дубинками, а теперь ружьями Манлихера. Так-то, Алексей Васильич, — прибавил он дружелюбным тоном и, сказав, что его дожидаются больные, ушел к себе во флигель.

Струков затрепетал от злости, он понял, что доктор удалился из снисхождения и что это понимают и Наташа с Петром Евсеичем; одно мгновение ему хотелось идти за докто-

ром, потребовать у него объяснения... но в чем? А воздух был так удушлив... Деревья сиротливо поникли увядшей листвою. В небе совершалось что-то апокалипсическое... Алексей Васильевич глубоко вздохнул и начал рассказывать о новых нелепицах, ходивших в народе, не без тайной цели доказать этим путем свою правоту и, кстати, отомстить Наташе и Петру Евсеичу.

— Патагонцы!.. Изуверы-с!.. — кипятился старик. — Окончательно выше понимания, какие изуверы!.. Все распродать... Юнусовым распродать, пусть их обдирают «по-соседски», — и за границу-с... Одно остается — бежать в чужие края от православного народушки. И убегу-с. Я болен-с... Мне невперенос подобная Эфиопия...

— Откуда ты все это узнаешь? — с неудовольствием спрашивала Наташа у мужа и умоляла глазами переменить разговор.

— Я думаю, и ты бы должна знать, — говорил он с насмешливой улыбкой, — если не сама, так дети наши постоянно теперь в народе. Неслыханная вещь: ходят по деревенским избам; Петрусь ночует в поле, пьет и ест из од-

ной чашки с крестьянскими ребятами... Я очень рад, но помните, Петр Евсеич, как мы смеялись над микробоманией Наташи? А ты тогда сердилась на нас.

Наташа покраснела и притворилась, что ищет какую-то вещь в рабочем столике.

— Петрусь всего только один раз ночевал в поле, с тобою вместе, — сказала она. — И потом, когда дети с доктором, это большая разница.

— Да, доктор... отвергающий медицину.

— Пусть, но он дал слово беречь детей, а слово Григория Петровича... — Она взглянула на мужа и, поймав в его лице какую-то черту, тотчас же оправилась от смущения и рассмеялась. «А, ты ревнуешь!» — сказал ему этот смех.

В ту же ночь он уехал на хутор, а оттуда в город, где по соглашению с предводителем подал просьбу о должности, и целую неделю таким образом не был в Апраксине, истязуя и веселя себя тою мыслью, что дружба Наташи с доктором преуспевает...

В эту неделю в Апраксине произошло событие, давшее повод к еще новым деревен-

ским басням. Мельник Агафон отравил свою Турку и скрылся неизвестно куда. Мальчишки-пастухи видели только, как на восходе солнца по направлению к Волге маячила его сторбленная, косматая фигура с посохом в руках, с мешочком за спиною. А собака лежала, точно спала, уткнувши свою страшную морду в лапы, на том самом месте, где так долго сторожила мельницу, хотя старик освободил ее от цепи и она могла бы уйти. Это событие до странности встревожило Петра Евсеича. Несмотря на усиливающуюся слабость и боли «под ложечкой», он сам посетил мельницу, тщательно зачем-то осмотрел опустевшую избу, несколько раз потрогал палкой издохшую собаку, а возвратившись домой, разразился бранью по адресу «Разсеи» и решительно заявил, что надо ехать к «просвещенным людям», то есть за границу, и что Наташа с детьми и с доктором непременно должны сопровождать его. «А господин земский начальник как хочет!»

Наташа сначала не подумала, что это серьезно. С тех пор как она стала неограниченно верить в Григория Петровича, она и за от-

ца так же мало беспокоилась, как за детей. Доктор же не считал нужным сообщать ей о прогрессирующем течении болезни. И вот на заявление отца о заграничной поездке она ответила улыбаясь:

— Ах, создатель мой, как далеко! Не ближе ли в Крым, если хочешь? Право, мельник сумасшедший, а они везде есть, и Россия вовсе не так плоха.

Но ее страшно поразило, как принял это Петр Евсеич. Он ни слова не сказал, лишь посмотрел на нее жалкими глазами, — и вдруг желтые щеки его задергались, губы сморщились в страдальческую гримасу, послышались всхлипывания, потом рыдания... Этого никогда с ним не бывало.

Разумеется, Наташа тотчас же согласилась на все и не знала, как успокоить старика. Затем она долго ходила с доктором по саду...

— Все равно, куда ни ехать: перемена климата уже мало значит, — сказал ей Бучнев, осторожно объясняя свой диагноз. — Но лучше ехать, куда хочет сам больной. В последнее время Петр Евсеич нехорошо упал духом, — этим только возможно объяснить се-

годняшнее впечатление. Может быть, в другой обстановке оживет. Чем страстнее желает, тем больше шансов, что оживет. Но я все-таки думал, что он остановится на Крыме.

— Я сама так думала, — сказала Наташа, — я летом как-то говорила, что мне очень хочется пожить в Крыму, — для него, разумеется, — прибавила она грустно, — лично мне никуда и ничего не хочется, — и он ответил, что к зиме надо послать человека приготовить квартиру в Ялте, отправить туда лошадей... Вы ведь знаете, какие у него привычки, у миленького. И вот...

— А догадываетесь, отчего он раздумал?

— Нет.

— Помните, в газете был рассказан случай с погребением в Крыму одного приезжего купца-старообрядца?

— То есть не с погребением, а с вывозом тела на родину. О придирах полиции? О том, как все уладилось лишь благодаря случайному вмешательству высшей власти? Да, это произошло с... — Она назвала фамилию известного московского архимиллионера.

— Ну, да. И помните, как Петр Евсеич воз-

мущался, говорил, что в России и умереть не дадут прилично! Вот отчего он раздумал.

— Но, боже мой, боже мой, неужели он сам ждет близкой смерти? И если ждет, неужели его интересует, какой будет обряд на похоронах? Нет, нет, миленький, вы ошибаетесь. А просто ему опротивели эти действительно отвратительные толки, басни, легенды, необъяснимое недоброжелательство вокруг и наконец эта ужасная погода. Как вы думаете? Я здоровый человек, и то иногда не прочь отдохнуть... Но, дорогой мой, как я рада, что и вы поедете. В душе такой мрак, такой холод... Но нет, неужто вправду он скоро умрет?.. Умрет... умрет... — повторила она с отчаянием, вслушиваясь в звук этого слова, и горько заплакала.

Бучневу казалось, что эти слезы не об одном Петре Евсеиче, и ему было очень жалко Наташу. В порыве этой жалости ему хотелось прижать ее к своей груди, утешить ласковыми словами, сказать ей, что он всегда, всегда останется самым искренним ее другом, — хотелось даже поцеловать эти измученные, заплаканные глаза, обыкновенно гордые, а те-

перь с таким робким и беспомощным выражением... Но он только крепко сжал ее руку, тихо произнес: «Ах, Наталья Петровна, такое ли еще бывает горе!» — и сказал обычную свою фразу, когда хотел уйти к себе — что его ждут больные.

К приезду Струкова уже было решено осенью ехать в Париж, а зимовать в Сан-Ремо или где-нибудь около Ниццы. До тех пор Наташа с детьми и с гувернанткой совсем переселилась в Апраксино.

Алексей Васильевич прямо из города возвратился на хутор и застал там ошеломившие его перемены. Мебель из детской и из комнаты жены была уже отправлена, а та, что оказалась лишней, стояла в чехлах. Растворенные настежь гардеробы были пусты... Гертруда Афанасьевна и прачка Василиса могли только объяснить, что так приказала барыня, и еще доложили с неуловимым выражением на потупленных лицах, что «есть слухок, будто всем семейством уезжают в чужие края». Струков совсем растерялся и, чего долго не мог себе простить, стал расспрашивать Василису, принесшую ему чай в кабинет, не при-

езжала ли сама Наталья Петровна, не говорили ли чего-нибудь люди, присланные за вещами, не был ли кто из хуторских в Апраксине по каким-нибудь своим делам? И весь внутренне похолодел, когда Василиса с милой сообщницы оглянулась на дверь и, таинственно понизив голос, сказала:

— Оно точно-с, Алексей Василич, барыня не приезжали. И люди апраксинские... ничего такого не говорили, кроме что удаляются всем семейством. А шарабанчик ихний видели... Пастух Созонт видел. И будто сидят с дохтуром, Григорием Петровичем, и будто выезжают с пасеки, от Максима. А была ли там, не была Ефросинь Терентьевна, нам, женщинам доподлинно неизвестно. Ежели угодно — я в секундочку...

— Какая Ефросинь Терентьевна? — побелевшими губами выговорил Струков, но вдруг понял, что прачка величает так Фросю, и неожиданно для самого себя рассвирепел. — Зачем вы шепчете и оглядываетесь на дверь? — крикнул он. — Что тут за секреты... черт вас всех возьми! — И как ни хотелось ему тотчас же поехать в Апраксино и сразу

узнать, в чем дело, но из малодушного страха перед догадками и «общественным мнением» прислуги (он из лица и из шепота Василисы узнал, что эти унижительные для него догадки существуют!) все-таки остался ночевать на хуторе. И несмотря на то, что вся душа его разрывалась от тоски и беспокойства, а глаза упорно избегали останавливаться на лицах, он весь вечер проговорил с практикантом и Олимпием о засухе, о необходимости поставить новый амбар для непроданного хлеба, даже несколько преждевременно сообщил им, что будет земским начальником, и распорядился, чтобы послали за мастерами ремонтировать камеру. Зато ночь прошла в мучительной бессоннице и заснул он лишь на восходе солнца после целой бутылки вина.

В Апраксине, к которому Алексей Васильевич подъезжал на следующий день, готовый ко всему ужасному, он прежде всего убедился, что преувеличенная нервозность играет с ним нехорошие штуки. Наташа была очень грустна, но с первых же ее слов Струков узнал, что ничего «ужасного» не случилось и произошли неожиданные вещи совсем не то-

го значения, которого он так смертельно испугался... Однако лишь самым первым, мимолетным его движением была радость, вслед за тем он неописуемо, рассердился на всех за то унижение, которому подверг себя на хуторе, и на Наташу за то, что она решила ехать за границу. Спустя какой-нибудь час этот слепой гнев превратился в тот вдруг ставший бесспорным для Алексея Васильевича вывод, что между Наташей и доктором уже произошло «любовное объяснение» и что поездка ее за границу — результат такого объяснения. И когда все, кроме детей и англичанки, собрались, как это всегда бывало после обеда, на террасе, защищенной от солнца, он почувствовал, что его душит самая простая, самая мужицкая ревность. И начал говорить, бросая быстрые взгляды на жену и на доктора и беспрестанно меняясь в лице, что удивляется... недоумеваает... что ему только и остается уехать к себе в Куриловку, что для него не только на словах, но и на деле важны отечество, народ, общественная деятельность... И что надоела бивуачная жизнь. И он не знает, есть ли у него семья или нет...

Сначала Наташа взглядом попросила его перестать, но убедившись, что это не действует, так и застыла в окаменевшей позе, — только лицо ее становилось все суровее и строже. Доктор молчал, с обычной своей непроницаемостью покуривая трубочку.

Петр Евсеич неожиданно поднялся, подошел к Струкову и начал отвечать низкие поясные поклоны; потом снова уселся задыхаясь и с невыразимым смещением тоски и глумления, с подобострастной учтивостью в словах и с злым огоньком во взгляде стал упоашивать Алексея Васильевича, чтобы отпустил жену.

— Да с чего вы взяли, что я ее держу? — возмущенный этой выходкой, крикнул Струков. — Я только говорю, что мне это неприятно, но она человек вполне свободный.

— Нет-с, вы извольте не на словах, — взвизгивал пожелтевший, как лимон, старик. — Нижайше вас прошу на бумажке-с... Паспорт-с... Григорий Петрович! Войдите в положение православной супруги: муж по этапу может вытребовать... Это ли не свобода-с?.. Ги, ги, ги! И почему же, осмелюсь полю-

бопытствовать, вам неприятно-с?

— Вы уже знаете, — ответил Струков.

— Не волнуйся, пожалуйста, Петр Евсеич, — сказала Наташа. — Я поеду.

— Ну, вот видите, чего же вам? — с горькой улыбкой произнес Струков.

— Знаю, что поедешь. Но ежели отпускная жалуется сквозь зубы, — мне это в тягость. И тебе будет в тягость.

— Не беспокойтесь!.. Наталье Петровне не будет в тягость поездка! — вырвалось у Струкова пискливым звуком. — Господин Бучнев недаром интересный человек!

Наташа вспыхнула; в глазах доктора пробежало что-то неуловимое... Петр Евсеич взглянул на них и вдруг звонко, с каким-то истерическим всхлипыванием расхохотался... Все смешалось перед Струковым. Сам не свой от стыда, от внезапного сознания ошибки, он сорвался с места и ушел далеко, в глубину сада. Насмешливый старческий хохот, — дьявольский, как ему казалось, преследовал его неотвязно... Знойный ветер бил в лицо, развеивал волосы. Деревья с покоробленными и тусклыми листочками печально шу-

мели. В унылой дали, по дороге, уныло и однообразно вздымалась серая, скучная пыль.

«Как поправить?.. Как доказать, что я не имею права... и не хотел... и рад, если правда?.. Глупо... мерзко... гадко...» — говорил сам с собою Струков, широко шагая вдоль запущенной аллеи. И не мог ни о чем думать, а только повторял в такт шагов: «Глупо... глупо... мерзко гадко...» — и смотрел сквозь просветы аллеи вдаль, и слушал, как жалобно шумели деревья — и страстно желал умереть.

И вдруг остановился и почувствовал, что ему больно, как от огня — от прихлынувшей к щекам крови... По той же аллее шел своей твердой и безмятежной походкой Бучнев. Одно мгновение Алексей Васильевич хотел скрыться — просто убежать, как делают маленькие виноватые дети, но тотчас же преодолел это и с протянутыми руками, с сердцем, переполненным раскаяньем, пошел навстречу.

— Простите ли вы меня, Григорий Петрович! — воскликнул он. — Я гадок, глуп, все что хотите, но я не то желал сказать, что сказал. Поверьте, это было какое-то наваждение.

— Я вам неприятен... — начал было доктор.

— О, нет, тысячу раз нет! Я мало знаю людей, которых уважал и любил бы... да, да, любил бы больше вас.

— Пусть так, но по временам я все же вам неприятен. Объяснимся. Петр Евсеич болен опасно. Я предполагаю, что у него рак печени. Делать тут доктору нечего, и я немедленно согласен уехать.

— О, нет, нет, дорогой Григорий Петрович, об этом не может быть и речи!

— Согласен бы уехать, — продолжал Бучнев, не обращая внимания на лихорадку, охватившую Алексея Васильевича. — Но это действительно невозможно: мне его жаль. С другой стороны, невозможно ему ехать без Натальи Петровны и нельзя вовсе отменить поездку. Теперь мне желательно слышать от вас, серьезно вы находите, что Наталье Петровне неудобно быть в одном обществе со мною, или это... так, игра вашего воображения? Проще говоря, вы ревнуете, — есть ли у вас на то резоны?

— Вы слишком определенно выражаетесь, — с замешательством сказал Струков и

добавил с странным любопытством, от которого вдруг упало сердце: — А вы как находите, есть резоны или нет?

— Я очень люблю вашу жену, — спокойно ответил доктор. — Но это не то, о чем вы думаете. Могу дать слово, что немедленно и несмотря ни на что уехал бы, если бы приметил за собой что-нибудь... категорическое. Но этого нет и не может быть.

— Да, это с вашей стороны, а она?

— Она? — по лицу доктора пробежала какая-то тень, хотя он тотчас же и с прежним спокойствием проговорил. — Ничего не замечал и с ее стороны.

— Друг мой, ничего и нет, — заспешил Струков, — и вы совершенно правы... И кто же говорит о правах!.. Я не знал, как серьезно болен Петр Евсеич... И потом, поверьте, у меня голова идет кругом... В сущности, я даже рад, — мне столько теперь дела... Смотрите — засуха, не кажется ли вам, что действительно может повториться самарский голод?.. Я отлично устроюсь холостяком... Съезжу, быть может, в Москву. Прикачу и к вам, покатаемся в Средиземном море!.. Я никогда не был на

Ривьере... Ревности! ха, ха, ха... Хорошо бы я был в роли Отелло с моими-то взглядами... — И Алексей Васильевич чрезвычайно долго, подробно и горячо рассказывал о своих взглядах на брак, на любовь, на верность, сознался даже, что у них с женою существует маленькая нестройность, но все это скоро кончится, и они заживут совсем по-другому... Доктор слушал, покуривая трубочку, ни один мускул не шевелился на его лице; а когда в излияниях Струкова наступила пауза, он в упор посмотрел на него и отчетливо произнес:

— В другой раз вы, однако же, удержитесь от таких сцен. Я этого не люблю... и не позволяю.

Алексей Васильевич растерянно улыбнулся, — он не ожидал столь высокомерных слов в эту минуту, — хотел было еще раз попросить извинения, но Бучнев круто повернул от него по боковой дорожке. «Какой неприятный, однако, человек!» — воскликнул про себя Алекоей Васильевич с вновь оживившейся ненавистью, рассматривая спину, обтянутую балахоном, кудрявый затылок, видный из-под смешного колпачка, — и вспомнив, как при

его вопросе о Наташе тень неуверенности пробежала по лицу доктора, не мог удержаться от злых и досадных слез.

Х

Впрочем, кое-как все уладилось и как будто не возымело дальнейших последствий. Правда, под гладкой поверхностью установившихся отношений, обычных разговоров и обычного порядка жизни сочились и бурлили себе втихомолку мятежные мысли и чувства, но все точно сговорились не замечать их. Струков по письму предводителя еще раз съездил в город, представился губернатору блистательно опроверг на журфиксе у Яковлевых одного «прямолинейного», доказавши как дважды два возможность «modus vivendi» [19] — установить его значит определить правильные взаимоотношения.} между новым законом и «народнической деятельностью», — разумеется, когда у «деятели» есть собственный, особливый от писаного права «компас»... Остальное время Алексей Васильевич проводил то у себя на хуторе, то в Апраксине и очень был доволен, что его по-прежнему влечет к доктору, что Наташа точно забыла нелепую выходку на террасе и говорит с ним охотно и по-дружески.

— Знаешь, отчего я еще рад, что Григорий Петрович едет с вами, — сказал он ей однажды, — рад за наших мальчиков. По-моему, доктор великолепен с детьми. Он достигает с ними того, чего в России, да еще в господской обстановке ужасно трудно достигнуть: правдивости отношений; умеет внушать им верные, без нервов и иллюзий, взгляды на действительность.

— Как мне приятно, что и ты так думаешь, — ответила Наташа, — и вот говоришь, что в России, да в нашей обстановке трудно. Представь, того же мнения и дядя Гриша... то есть о трудности. Он говорит, если есть средства, лучше воспитывать за границей.

Мятежное чувство кольнуло Струкова, но, подавив это чувство, он осторожно заметил:

— Да, но есть другая опасность: дети могут обратиться в беспочвенных космополитов.

— В безусловно порядочных людей, я думаю!

— А помнишь воспитание Бельтова в герценовском романе, а что из этого вышло?

— Ах, создатель мой! Тогда условия западной жизни и русской были слишком различ-

ны. Тогда была Россия мертвых душ, гоголевская Россия. Воспитать так для общества Чичиковых и Ноздревых действительно страшно.

— А теперь щедринская Россия и господа Головлевы стоят Чичиковых.

— Но сам же ты...

— Я только до конца довожу ваши с доктором мысли. Я хочу сказать, что с детьми, воспитанными за границей, может, придется и остаться за границей... совсем!

— О, и он то же говорит!

— *Magister dixit?*[20] — с притворной шутиливостью произнес Струков; его опять кольнуло, и на этот раз он не мог удержаться и продолжал с горечью: — Я понимаю Григория Петровича. Для него отечества не существует. Их мировоззрение с Петром Евсеичем — нетовщина... Я не умею иначе назвать. Но ты, ты, Наташа? Помнишь, как ты тосковала о России? Помнишь, в Кью-Гардене, на берегу Темзы... что нам мерещилось тогда? Помнишь дорогу из Фонтенбло в Париж и костромскую песню, и все, и все?

— Ах, не говори... Много ли, миленький,

дала нам Россия, — сказала Наташа, заражаясь его волнением, но больше ничего не прибавила, подавляя, в свою очередь, мятежные чувства и мысли, и только когда он вышел, заломила с отчаянием руки и воскликнула про себя: «Господи! И зачем это дети, семья, когда и без того не знаешь, как жить и что делать!..»

Раз, в том же Апраксине, случился еще очень взволновавший Алексея Васильевича разговор, хотя совсем по другому поводу. Наташа рассказывала, как она с Григорием Петровичем ездила на пасеку и о своих впечатлениях от Фроси и Максима.

— Вот странные отношения, — говорила она, — если бы я была суеверна, я бы предсказала этой паре дурную судьбу. Он — точно бомба, заряженная динамитом, а она — будто наслаждается этим, без всякой нужды дразнит его, употребляет какие-то загадочные словечки, кокетничает... Помните, дядя Гриша, с какой улыбкой она на вас посмотрела? Я уверена, только оттого, что это было при муже.

— Криминалисты итальянской школы на-

верное, определили бы обоих как врожденных преступников, — сказал доктор, — у него асимметрия в строении черепа, грубые волосы, выдвинутая челюсть, у нее — жестокий, чувственный рот, чересчур мягкие очертания фигуры — змеиные! — ясно выраженное отсутствие воли в рельефе лба и подбородка, а в глазах... я бы сказал что-то пьяное или, пожалуй, признак одностороннего помешательства.

— Но как удивительно красива! — воскликнула Наташа.

— Это криминалисты, — глухо говорил Струков, копаясь с испорченной Алешиной игрушкой, которую взялся починить, — ну, а вы? Ваше мнение?

— По-моему — типическое отвращение друг к другу организаций, двух душ.

— Обоюдное отвращение?

— Да. Только в природе физических тел, например, это формулируется гораздо проще, хотя и там, если не ошибаюсь, до сих пор не знают, что такое химическое сродство и почему г-н калий больше любит г-жу серную кислоту, нежели г-н алюминий. Это, видите ли,

ни больше ни меньше, как проявление «мировой энергии»! А враждебная противоположность между электроположительными и электроотрицательными элементами. Что мы знаем об этом? Но если не знаем, так, по крайней мере, ясно видим. Враждебность душ видеть гораздо труднее. Я сказал — обоюдное отращивание, — вы, Алексей Васильич, находите это невероятным? Но это оттого, что оно маскируется. Одна сторона, муж, вместе с отращиванием злобно любит за внешность, за неуверенность в обладании, за красоту, — Фрося, действительно очень красива, — другая любит за безобразие, за риск, за ревнивую ярость.

— Вот уж вздор! — вырвалось у Струкова.

— Почему же? — спросила Наташа. — Кроме ее кокетливых привычек, ведь мы ничего не знаем о ней. Никто не говорит, чтобы она изменяла мужу.

— И потом, отчего бы ей не уйти в противном случае? — сказал доктор. — В крестьянском и особенно дворовом быту тысячи фактических расторжений брака... Нет, они живут вместе. Я не удивлюсь, если он ее убьет

или она его отравит, но до тех пор происходит то, что случается довольно часто: отвращение скрашивается азартной игрою в тайны, в секреты, в жгучие ощущения, в своего рода кошку и мышку. Если Фрося и изменяет — это ничего не доказывает. Это доказывало бы только, что ей нравится осложнять страшную прелесть игры. В этой области человеческих отношений есть материал для удивительных открытий... И еще больше вечных загадок. Больше чем где-нибудь здесь нельзя судить. Иногда можно лишь догадываться... и всегда сожалеть о несовершенстве наших знаний, о том, что наука и здесь, по обыкновению, захватывает лишь поверхность. А структура действующего права — поверхность поверхности.

Струков весь был полон возражениями, но не решался произносить их.

— Но в отдельности Максим такой добрый, простодушный мужик, — сказала Наташа, — а она такая милая, веселая, работающая... — Потом добавила рассмеявшись: — Впрочем, она, на мой взгляд, сильно изменилась, по крайней мере, со мною. Заметили вы, Григорий

Петрович, как она вызывающе держалась, как нехорошо взглянула на меня? Как проговорила: «Вы бы, сударыня, чем о людях заботиться, вокруг себя позаботились?» Правда, с моей стороны было, пожалуй, глупо просить Максима жить в ладу с женою.

Петр Евсеич в последнее время опять обложился документами и юридическими книгами и по целым часам сидел взаперти, впуская к себе лишь одного доктора. Это снова составлялось завещание. Но теперь случилось так, что он присутствовал при разговоре и, что несколько удивляло Наташу, упорно молчал. Вдруг его точно прорвало. С необыкновенным оживлением он начал возражать доктору, заговорил слово в слово то же самое о «брачном вопросе», что проповедовал когда-то по дороге в Кью-Гарден... Он после сознался, что оттого долго молчал — не хотелось спорить с доктором: они ведь так сходились друг с другом, а теперь доктор утверждал «какую-то мистику наыворот». Но что еще больше удивило Наташу, так это то, что Алексей Васильевич соглашался со стариком во всех пунктах, и с необыкновенной горячностью... Впрочем, она

объяснила это по-своему, и когда Петр Евсевич, позвав с собою доктора, удалился, тихо сказала мужу:

— Спасибо тебе, что соглашался. Ему очень вредно раздражаться.

— А ты предпочитаешь быть в тумане бучневских теорий? — с нехорошей улыбкой сказал Струков.

— Почему же в тумане? Мне ясно, что он говорил.

— Что Афросинью привязывают к мужу сильные ощущения и... тпфу!.. какая-то развратная любовь, а не закон?

— Если закон, отчего же она, правда, не уйдет от Максима?

— Куда? Еще недавно твой отец напомнил о существовании этапного порядка.

— Полно тебе... Охота вспоминать слова больного человека.

— Я напоминаю, а не вспоминаю. И еще раз убеждаюсь, что в твоих глазах господин Бучнев непогрешим, как папа.

Глаза Наташи сверкнули. Она готова была крикнуть: «Да, да, да, он в миллион раз и во всем справедливее тебя!» — но промолчала и

через мгновение произнесла с видом усталости:

— Оставим это... Что нам друг друга исповедовать.

А Алексей Васильевич чувствовал, что даже шаги доктора, доносящиеся из соседней комнаты, колышут в нем целое море снова поднявшейся ненависти, хотя в глубине души он сознавал, что ненависть эта беспричинна.

Не дальше, как через три дня после описанного разговора, та беспричинная ненависть, которую Струков не мог заглушить в себе при мысли о докторе, повела за собою едва не катастрофу.

Дело произошло так. Несколько недель тому назад, в праздник, к Бучневу явился мужик с рукою на перевязи и со слезами на пьяном, опухшем и окровавленном лице «Христом-богом» просил полечить. Рука оказалась переломленною в драке. Григорий Петрович долго и с обычной своей обстоятельностью в операциях возился с мужиком, посещал его и на дому, верст за шесть от Апраксина до тех пор пока рука великолепно срослась и мужик мог приняться за работу. И вот через три дня

после разговора о Максиме и Фросе, когда Струков, решительно не испытывая того, что называл своим «навождением», сидел у доктора и с удовольствием развивал перед ним свои взгляды на возможность «modus vivendi», в дверях появился и смело выступил на середину комнаты этот удачно вылеченный пациент. Он сначала вкрадчиво, в неприятно льстивых и запутанных выражениях, а потом довольно нагло стал требовать свидетельства «об увечье». Доктор долго оставался равнодушным.

— Да на какого тебе черта свидетельство? — говорил он мужику. В противоположность Струкову, он был в нехорошем своем настроении. — Пристаешь, а у меня и чернил нет. Надо в дом бежать, а там барыни: надо одеваться. Видишь я в чем сижу.

— Нас эфто не касаето, хоть нагишом сиди, а свидетельству подавай, ты на то приставлен, — упрямо твердил мужик, все более и более возвышая тон. — Нам без свидетельства никак невозможно. Четыре недели без работы прослонялся... рабочую пору. Я за мордой не гонюсь — рука дорога. Можа, господам

которым, а нашему брату лежать не приходится. Поданя-то не с вас, а с нас.

— Вот и вышел остолоп. Я же тебя вылечил, нянчился с тобой, а ты меня шпынять пришел. И деньги твоей бабе даны... Все врешь.

— Кто тебя шпыняет? Хучь вы, к примеру, и получаете от царя, что следуемое, но мы за- всегда благодарны. А свидетельству подай. Ты на то приставлен. У меня, коли на то пошло, и аблакат в телеге дожидается.

— Какой аблакат? Зачем?

— Судиться желаю.

— С кем судиться?

— С кем дрались, с Фомкой с Брюнчиком. Я за мордой не гонюсь, а насчет руки... Прямо к следственнику едем... Четвертной убытков... В увечье...

— А! Так вот на что понадобилось свидетельство, — зловещим шепотом выговорил доктор и вдруг крикнул: — Алексей Васильевич, станьте у дверей!

Струков взглянул на его побелевшее как бумага лицо, на глаза с грозно мерцающими зрачками и испугался.

— Что вы хотите делать? — воскликнул он.

— А я ему залечил, я и сломаю... И засвидетельствую, что сломана, — проговорил Бучнев и грубо схватил мужика за руку. Произошла отвратительная сцена. Мужик растерялся, завопил пронзительным голосом: «Ай!.. ай!.. Пустите душу на покаянье!.. Ай, батюшки, не буду... не буду... другу-недругу закажу!..» — и, отчаянным усилием освободивши наконец руку, опрометью, без шапки, выбежал из флигеля.

— Я тебе дам свидетельство! — гремел доктор, выбрасывая в окно мужикову шапку, но тот уже был около телеги, в которой внезапно поднялся во весь рост какой-то мужчина в потертом пиджачке и с подвязанной щекою и начал что есть силы нахлестывать лошаденку. Несчастный мужик успел, однако же, навалиться животом на грядущку и в таком положении скрылся в клубах пыли, поднятой быстро мелькавшими колесами.

Ошеломленный Струков несколько минут молчал, тяжело переводя дыхание. Доктор несколько раз прошелся по комнате, затем, как ни в чем не бывало, закурил трубку, и...

простодушно рассмеялся.

— Дрянной мужичонко, — сказал он, — впрочем, это его непременно где-нибудь в кабаке этот стрюцкий науськал.

— Послушайте, неужели вы серьезно хотели сломать руку? — спросил Алексей Васильевич, чувствуя, что не в состоянии отвести глаз от стоявшего перед ним доктора.

— Конечно, нет.

— Ну, а по вашему лицу видно было, что да.

— Может быть, не знаю, неохотно ответил доктор. Я не понимаю такого обращения с народом.

— При чем же тут народ? Будь он барин, это все равно.

— Сомневаюсь, чтобы вы так поступили с барином, — поднявшись и усиливаясь сдерживать трясущуюся челюсть, сказал Струков.

— Отчего? Не сомневайтесь.

— Ну, вот я — барин, и я говорю вам, что вы сделали подлость! — крикнул Алексей Васильевич.

Глаза его впивались в лицо доктора с какой-то сумасшедшей настойчивостью.

Прежде Бучнев в ожидании таких взрывов пристально следил за Алексеем Васильевичем. Теперь ему было не до того... Он усмехнулся, потом сказал усталым голосом:

— Я говорил, что я вам неприятен. Охота петушиться. Если подлость — я сам себя накажу. Если вы хотите узнать, поступлю ли я так с вами, — вам надо столкнуться с стрюцким, кляузничать, требовать от меня заведомой лжи, пособничества в кляузе. Ваш тон и даже больше — ничего не могут доказать. Я ведь оскорблений так называемой чести не признаю, предрассудок «собственного достоинства» отрицаю...

Струков ничего не понимал. Шум крови в его ушах перебивал голос доктора. Да если бы и не шумело, он все равно не разобрал бы, что тот говорит ему. Он только видел, как омерзительно шевелятся эти тонкие губы, как отдает желтизной мускулистая ненавистная щека с подлой чисто вымытой морщиной около носа.

— Что у вас тут случилось, Григорий Петрович? — послышался за дверями торопливый и встревоженный голос Наташи.

— Нельзя, нельзя, я не одет! — крикнул доктор.

И в тот же миг раздался сильный, отвратительный звук... Григорий Петрович пошатнулся, как-то странно взвизгнул и с страшным лицом, на котором горело розовое пятно, бросился к Струкову, — и схватился за ручку двери.

— Я не одет, Наталья Петровна... успокойтесь... Через пять минут приду в дом... — сказал он почти твердым голосом.

Наташа еще что-то говорила, потом ушла... Доктор прислушался к ее шагам, отошел от двери, сел и взглянул на Струкова. Никогда тот не мог забыть этого печального, усталого взгляда.

— Я готов... Когда? — хрипло выговорил он.

— Это стреляться-то, что ли?.. Нет, Алексей Васильевич, я не стану стреляться.

Струков криво усмехнулся, наклонил голову, колеблющимися шагами вышел из комнаты и, не заходя в дом, уехал на хутор.

Всю дорогу он чувствовал себя точно пьяный. Обрывки мыслей, впечатления, образы

проносились в его отуманенной голове беспорядочной чередой... Вечерело. Где-то вдали надрывающим душу звуком мычала корова. Мутная пелена пыли нависла над выжженной степью. Солнце закатывалось, зловещее, тусклое, угрожающее.

По дороге встретился мужик верхом. Струкову отчетливо бросились в глаза его черное, загорелое лицо, до странности белые зубы, открытые удивленной улыбкой... Мужик что-то сказал, потом что-то закричал вслед, — было не слышно за стуком колес. «Чему он удивляется?» — подумал только Алексей Васильевич. Недалеко от хутора повстречался другой мужик, в телеге, и опять с раздражающей отчетливостью сверкнул ослепительными зубами на черном, как у негра, лице и закричал... Струков услышал и страшно переконфузился.

— Да, да, — закричал он уже далеко отъехавшему мужику, — это от ветра... Ветром сбило...

Он был без шляпы и только теперь заметил это. И только теперь заметил, что едет не на своей лошади и не в шарабане, а на дрожках апраксинского приказчика и на какой-то

вислоухой, чалой кобылке. «Должно быть, он приехал с поля полудневать, и я взял и сел», — подумал Алексей Васильевич, и точно это была та самая посылка, которой недоставало ему для умозаключения, воскликнул про себя: «Конечно, струсил!.. И надо бить... бить... Бить презренных трусов... И всегда буду бить...» Односложный, короткий звук слова совпадал с мерным постукиваньем расшатанного заднего колеса. И Струков уловил это, и на несколько мгновений это доставило ему особое удовольствие: будто кто другой соглашался, что надо «бить... бить... бить...». Но вдруг, как живые, взглянули на него печальные, усталые глаза, и всхлипывая, и сердясь на то, что умозаключение рассыпалось, он что есть силы гнал сердито пофыркивающую кобылку.

Конюху он опять сказал, что шляпу унесло ветром, и еще сказал, что экипаж и лошадь понадобятся в Апраксине, а это лошадь Авдеича и чтобы ее хорошенько накормили. Гертруда Афанасьевна так и ахнула, встретивши его в передней. «Батюшка мой, да вы как арап!» — воскликнула она с искренним собо-

лезнованием. «Вот ведь любят меня...» — мелькнуло у Струкова, и он едва не заплакал от внезапного умиления. Потом умылся, переделался, что-то долго и подробно рассказывал Гертруде Афанасьевне — все с тем же чувством умиленной любви ко всей ее рыхлой, неповоротливой фигуре; потом спросил чаю, хересу и, сказавши, что рано ляжет спать, заперся в кабинете.

...Было два часа ночи. Лампа с зеленым абажуром разливала мертвенный, спокойный свет. И с тем же мертвенным светом на застывшем лице стоял, прислонясь к стене, Струков. Только зрачки его глаз, неподвижно устремленные в одну точку, мерцали живым и еще мятежным блеском... Казалось, вся истлевшая от нестерпимой муки душа сосредоточила свою последнюю силу в этих глазах и догорала тревожным, колеблющимся, мелькающим в каком-то испуге огоньком.

Херес был не тронут. Около недопитого стакана с чаем лежал револьвер, на письменном столе — кругом исписанный листок почтовой бумаги.

За непроницаемой гардиной слышался

стук... Струков оставался неподвижен. Через минуту стук повторился, можно было различить, как барабанили пальцем по стеклу и кто-то звал вполголоса... Струков равнодушно повернул голову, как будто это было так и надо, чтобы в два часа ночи стучали в окно, — равнодушно сделал несколько шагов и поднял гардину. И вдруг его лицо, похожее на безжизненную маску, преобразилось. Какое-то исступление, какой-то тоскливый восторг не скрасили, а исказили его черты... В туманном от пыли месячном освещении выделялась характерная фигура доктора.

— Впустите же, пожалуйста, — зорко всматриваясь сквозь стекло, гозорил он, — я чертовски устал и хочу есть, пить, спать... что угодно. — И продолжал уже в передней шумным, притворно-веселым голосом: — А я таки не утерпел, сбегал к тому мужичонке, помирил его с Брюнчиком... и с собою... Даже водки с ними выпил!.. А оттуда к вам... и есть страшно хочется...

Струков молча ввел его в кабинет.

— Эге! И огнестрельные припасы!.. И письмо!.. — воскликнул доктор. — Алексей Васи-

льич, побойтесь вы бога. Почему? Зачем? Что такое случилось? Фу, какой вздор! Позвольте-с... это мы приберем в ящик... Сюда?.. Письмо... Оставьте его на память. Ба! И вино, и сыр... Отлично! Теперь садитесь, и давайте выпьем. Я нынче выпью... Застрелиться никогда не мешает, но с толком, друже, с расстановкой, как говаривал покойник Фамусов.

Струков как сел на диван, так и не мог подняться. И не мог выговорить слова от мелкой, не перестающей дрожи во всем теле. И как несколько часов тому назад он был не в состоянии отвести глаз от доктора, так и теперь; но теперь вся душа его трепетала от невыносимого презрения к самому себе, от мучительной любви к этому человеку.

Григорий Петрович поднес к его губам стакан с вином, заставил выпить.

— Я не только оттого... Я за все... за все... хотел расплатиться, — трясущимися губами прошептал Струков, — но вы раздавили меня как червяка...

Доктор больно сжал его руку.

— Послушайте, — сказал он тихо и без всякой веселости, — послушайте... Я сто раз ду-

мал, что меня раздавили как червяка, и, вот видите, — жив. Я стал помнить себя с этим чувством бессильного отчаяния... Сначала детского, бессмысленного, но тем не менее отравлявшего жизнь. Помните, Наталья Петровна спросила, шутя, отчего я — простой казак, а лицо у меня аристократическое? Меня и в станице дразнили подзаборным панычем. Фамилия моего отца не Бучнев. Один из моих братцев, не по матери, конечно, — птица высокого полета. В станице, в гимназии, где я воспитывался на таинственные средства... о, какие я давал клятвы отомстить за мать, за свое незаконное рождение. И только в академии понял, что это глупость. А потом... Хотите, расскажу о последующей карьере червяка? Слушайте... Или нет, лучше расскажу самое главное, — об остальном — вы читали сказочку Гаршина «То, чего не было»? Пошел кучер Антон, наступил сапожищем... и так далее.

Он встал, прошелся по комнате, отхлебнул из стакана и продолжал:

— Расскажу о главном. Была девушка... Называть ее не будем. Довольно вам знать, что

случилось это в тридевятом государстве... как в сказке... Или, и назову... тоже по-сказочно-му — принцессой Милли. Скажите пожалуйста, любили ли вы по-настоящему? О нет, не так, не семейной любовью, не любовью мужа к жене, — в этом-то я не сомневаюсь, — а до экстаза, до превращения женщины в божество, с верою в ее нездешнюю силу, с мистическим очарованием от ее внутренней красоты и вместе от улыбки, от взгляда, от звука голоса, от простого движения руки?.. И если любили, отвечали ли и вам любовью? Снисходило ли к вам ваше божество? Чувствовали ли вы сладкий огонь ее поцелуев, тихий, счастливый смех, ласковую правдивость взгляда? — Он мельком взглянул на Струкова и невесело засмеялся. — Вы удивляетесь, что я выражаюсь так высокопарно? Ничего, это бывает. Больные, особенно с повышенной температурой, тоже так выражаются. Я лечил одного чахоточного... язвительный был малый, бурсак, элоквенцию терпеть не мог, и знаете, что заговорил однажды, незадолго до смерти. «О, сколь милы мне эти клейкие листочки на березе, и шум весны, и соловьиная песня...»

Да каким чувствительным голосом! А Тургенева, бывало, читать не соглашался: приторный, говорит, у него язык...

— Продолжайте, — прошептал Алексей Васильевич.

— Ну, вот-с... Я и сейчас так люблю, а она... Вообразите вы волшебный недоступный замок какой-нибудь. Огромной толщины стены, бойницы, решетки... и далеко, далеко. Проще сказать, нет в мире такой силы, чтобы войти туда, взглянуть, пожать руку... И она там. Навсегда там, поймите это. И нет прежней, гордой и сильной принцессы Милли, — есть униженное, измученное, больное существо... У этого существа день и ночь бьется разбитое сердце, день и ночь тоскует в смертной истоме оскорбленная всеми оскорблениями душа... А тело!.. Ах, какое маленькое, худенькое, надорванное лишениями тело... и огромные, зовущие глаза... — Доктор низко наклонил голову... Струкову слышалось заглушённое рыдание, — он и сам едва удерживался, хотя многое не понимал в этой сказке.

— Зовет! — с необыкновенным выражением воскликнул Бучнев. — Голос, голос этот, ни

с чем не сравнимый, я слышу, я не забуду его... — И неожиданно закончил после нескольких минут молчания: — А впрочем, давайте выпьем.

Потом еще долго говорил и много пил вина. Но не пьянел, только лицо его становилось все бледнее и печальнее да на тонких губах беспрестанно бродила жалкая, беспомощная улыбка. Утром же встал как ни в чем не бывало, — в окно с поднятой гардиной, предвещая такой же, как и вчера, ветреный день, кровавым заревом светила заря, — и сказал:

— Ну, и довольно. И я пойду... Спите себе. И — «ни слова, о друг мой, ни звука»: Наталье Петровне никакой нет надобности знать о нашей с вами сшибке... Да и никому.

Затем остановился в дверях и, надвигая свой колпачок, прибавил:

— А знаете, ваша жена ужасно напоминает ту... принцессу Милли... Любите ее, берегите, а разные там подозрительные чувства... понимаете? оставьте это. И притом, ими не удержишь, — таких, как она, только и удержишь... знаете чем? Подвигом, Струков. Это именно для них написано, — и он пропел

фальшивым голосом:

*Бу-у-дет буря!..
Мы поспорим
И помужествуем с ней!..*

Мужества-то и не доставало Алексею Васильевичу. Недостало даже на то, на что он было решился одно мгновение: остановить Бучнева, показать ему исписанный кругом листочек — свою исповедь, свою нехорошую тайну. Он только глубоко вздохнул, когда фигура доктора, отчетливо и одиноко вырисовываясь на зловещем багровом небе, скрылась наконец в степной дали, и, возвратившись в кабинет, сжег листочек. Потом, не раздеваясь, повалился на постель; вспомнил еще раз, что произошло в эту ночь, содрогнулся от внезапно пробежавшего озноба и вдруг заснул тяжелым, беспробудным, похожим на обморок сном.

— Барин!.. Барин!.. Алексей Василич... Алексей Василич!.. Проснитесь, пожалуйста... Огромная неприятность!

Струков с трудом расклеил глаза, увидел над собой помертвелое лицо прачки Васили-

сы и встревоженного практиканта и вскочил в ужасе.

— Что такое? Что такое? — забормотал он. — Что-нибудь с доктором случилось?.. Где?.. Когда?..

— С каким там доктором, — с недоумением произнес практикант, — солдат Максим жену убил.

Алексей Васильевич как подкошенный упал на стул.

— У-би-и-л, злодей, у-би-ил, — заголосила Василиса, — топором порешил, голубушку... Чуть дышит.

При последних словах Струков сорвался с места.

— Чуть дышит? Жива? — заторопился он, озираясь растерянными глазами, — пожалуйста... кто там... лошадей... за доктором...

— Уже послано, — ответил практикант, — и в Апраксино, и в Излегощи за урядником. Но что делать с Максимом? Он в кухне... Пойдите к нему.

— Да?.. Ну что ж, я пойду... Что же, ничего... Пожалуйста, скорее доктора. И первая помощь... вино... носилки...

— Гертруда Афанасьевна с Олимпиаем давно уже там... И народ побежал.

— А, вот и отлично... и отлично...

Солдат Максим сидел на лавке, растопырив руки на коленях, и сосал давно уже потухшую трубку. При появлении Струкова он, как и всегда перед начальством, проворно спрятал трубку и вытянулся.

— А, здравствуй, Максим!.. Ну, что ты? Как ты там? — выговорил Алексей Васильевич, скользнув испуганными глазами по заросшему волосами изуродованному оспой лицу.

— Больше ничего, как прикажете падало прибрать, — отчетливо произнес солдат.

Раздались негодующие восклицания женщин, столпившихся за спиною Струкова... Алексей Васильевич ничего не понял.

— То есть как... падало? — спросил он.

— Апроськино тело, вашевскародие, — с прежней отчетливостью пояснил Максим.

— Но за что же? За что, несчастный ты человек? — вырвалось у Струкова болезненным стоном.

— Потому, нет моего согласия ейную распутную душонку покрывать. Я присягу при-

мал.

«Злодей ты окаянный!.. Кровь пролил, да еще кочевряжится, рябой черт!.. Расстрелять тебя мало, подлая твоя душа!» — слышалось из толпы.

Ни один мускул не дрогнул на лице Максима. До прихода Алексея Васильевича он отрывочно, но подробно рассказал, как все произошло; теперь, перед барином, из особого чувства почтительности, он не хотел распространяться и возражать обозленной дворне. Посолдатски устремив на Струкова глаза, он стоял безмолвно, протянув руки по швам. И лишь в самой глубине этих бессмысленных выпученных глаз трепетало что-то страшное и роковое.

— Да что тут с ним толковать, — злобно крикнул кучер Илья, — прикрутить ему руку к лопаткам и в стан... Костюшка, неси вожжи.

— Да, да, конечно... Нет, зачем же вязать, — не сознавая, что говорит, произнес Струков и вдруг, вспомнив, что Фрося еще жива, с отчаянием воскликнул: — Кто же с ней?.. Спешите туда... Дайте поскорей лошадь... — и торопливо вышел из кухни.

Все, кроме Ильи и конюха Костюшки, бросились за ним, а прачка Василиса мелкой рысцою побежала с ним рядом и, всхлипывая и легонько причитая, стала шептать, что «злодей нашел четвертную бумажку» в женином сундуке, что «она, горюша, напрямки ему, ироду, отбрила: мил, сердешный друг подарил, и тут-то он ее, окаянный, и полыснул топором»... Струков едва вслушивался в прачкины слова и решительно не понимал их значения. Только несколько дней спустя он вспомнил о них, и каким потрясающим укором они легли на его совесть. Фрося была еще жива, когда на пасеку примчались на случайно запряженной водовозке Олимпий и экономка и сбежался народ, но эту жизнь только и можно было заметить по едва слышному биению сердца. Несчастная не приходила в сознание. Дело случилось, вероятно, так. Фрося куда-то уходила, и в ее отсутствие Максим взломал топором замкнутый сундучок, нашел там таинственные деньги и, о чем не сказал на хуторе, выбросил и изрубил женины наряды. В это время она возвратилась, и между ними началась обычная сцена. Для уряд-

ника, явившегося производить дознание, представлялось загадочным, отчего она не стала, «по-бабьему обнаковению», вывертываться, не объяснила присутствие денег в сундуке какими-нибудь лживыми, но правдоподобными обстоятельствами, а прямо отрезала: подарил-де «мил-сердешен друг»? Однако женщины хором возразили на это, что у бабы только и есть за душой что наряды, а так как Фросе прежде всего бросилось в глаза изрубленное добро, то она, не помня себя, лишь бы досадить постылому мужу, и крикнула ему «в самые бельмы» о деньгах. Тогда он наотмашь ударил ее обухом.

— Но в таком разе сумлительно, как так супруг не допытывал, кто есть любовник, — строго сказал урядник, — тем паче, вы говорите, завсегда имел такое обнаковение — бить и антиресоваться, с кем вожжалась?

— Да никогда и не было любовника, господь с вами! — наперебой ответили женщины. — Четвертной билет она всячески могла сколотить... мало ли чем! А что будто бы гуляла — просто со зла взвела на себя, из-за нарядов. До кого ни доведись — сердце возьмет.

Мужчины больше отмалчивались и вздыхали, а когда урядник стал их допрашивать поодиночке, отвечали, что «знать ничего не знают», что «слухов кабыть никаких не было», что «можа, когда и бивал, потому как же и не учить ихнюю сестру». Выходило так, что и Фрося была «хорошая женщина», и Максим «серьезный мужик», а ежели случился грех, значит, господь-батюшка попустил.

Вид Фроси был ужасен. Она лежала навзничь, с крестообразно раскинутыми руками. Вместо лица виднелась сплошная страшная рана, залитая кровью. От всей ее красоты остались лишь прелестные черные косы. При падении они рассыпались из-под голубенькой повязки и отчетливо выделялись на приотптанной траве своим вороненым блеском.

Когда приехал Бучнев, ему уже нечего было делать: Фрося умерла, так и не придя в сознание. Зато очень встревожил доктора Струков. Григорий Петрович нашел его на опушке, шагах в семидесяти от пасеки. Сгорбившись, сидел он на пеньке, ковырял хворостинкой под ногами и внимательно следил, как разбегались и прятались испуганные му-

равьи. Услыхав близ себя голос доктора, он поднял голову, хитро подмигнул в сторону па-секи и сказал:

— Видели падало? — и беззвучно засмеялся. Потом быстро и несвязно заговорил такие странные вещи и с таким выражением в глазах, что доктор посмотрел, посмотрел на него, крикнул кучеру подавать экипаж и, не возвращаясь к труп, около которого уже мелькали жгуты урядника, взял Струкова под руку и посадил с собой. Тот сел послушно, но опять было заговорил...

— Молчите! — повелительно крикнул Григорий Петрович и посмотрел на него строгими глазами. Тогда Струков тихо, как-то по-детски, заплакал.

В Апраксине доктор ввел его к себе, все тем же повелительным голосом и взглядом приказал раздеться и лечь в постель и положил ему на голову пузырь со льдом. Затем, посидевши у изголовья, все не отводя строгого взгляда от глаз больного, до тех пор, пока эти глаза сомкнулись, вышел на цыпочках в другую комнату и написал записку Наташе. В ней он извещал, что сам прийти не может,

что Фрося умерла, что Алексей Васильевич заболел сильным нервным расстройством — вероятно, под влиянием прежнего недомогания, — и нуждается в постоянном присутствии врача, и, что в виду сего последнего обстоятельства, больному гораздо удобнее остаться во флигеле, а «врач просит присылать ему от времени до времени необходимую пищу, ибо и он не намерен отходить от своего пациента».

Наташа тотчас же пришла во флигель и хотела посмотреть на мужа, но доктор не пустил ее, сказав, чтобы не беспокоилась, что он ручается — через несколько дней все пройдет, а пока считает чье бы то ни было присутствие около постели больного безусловно вредным и опасным. И все время чутко прислушивался, просил говорить как можно тише, — Наташе даже показалось, что ему хотелось, чтобы она поскорее ушла.

— Вы что-то скрываете от меня? — с тревогой сказала она.

Бучнев пожал плечами и еще раз заявил, что ручается, но метода лечения у него своя, и он просит извинить, если не нравится эта ме-

года. Тогда Наташа покорилась, почти успокоилась за мужа, и шепотом стала расспрашивать о подробностях убийства.

А Струков лежал в забытьи под ледяным компрессом.

Через неделю он действительно выздоровел, но вышел из флигеля с значительно поседевшими волосами, с каким-то старческим выражением на бесцветном осунувшемся лице. Даже Петр Евсеич выразил непритворное участие и искренне начал его уговаривать ехать за границу. Но Струков слабо и мягко улыбался и отрицательно покачивал головой. В город он написал, что отказывается от кандидатуры, дня за три до отъезда долго ходил вдвоем с женою в саду, и возвратились оба, особенно она, в таком настроении, как будто пришли в опустелый дом с похорон близкого человека. Что было говорено во время этой прогулки, осталось неизвестным, но когда вечером Алексей Васильевич заявил, что, проводивши их до пристани, уезжает в свою тамбовскую Куриловку, где и останется жить, и когда Петр Евсеич, изумленный таким внезапным решением сердито закричал:

— Что же это, Наташечка? Свыше понимания, какая новая блажь... — Наташа холодно и безучастно произнесла, что у всякого свои резоны, и, вероятно, «Алексей Васильевич» знает, что делает.

Перелыгин понял тогда, что это решение не внезапно, что между дочерью и зятем произошло что-то серьезное, и уже не заговаривал больше на эту тему. В сущности, он был доволен. И оттого ли, что хотел утешить Струкова, или поскорее убедиться в том, насколько твердо такое решение, с изысканной вежливостью начал просить у него совета, что же делать с имением. Алексей Васильевич предложил доверить пока управление хуторскому приказчику, а при первой возможности распродать по частям окрестным крестьянам.

— И, может быть, хутор хорошо бы оставить мальчикам, — добавил он, робко взглядывая на жену.

Петр Евсеич тотчас же согласился относительно практиканта, а о продаже сказал:

— Как Наташечка, мне все равно.

— Успеем, миленький... Что вперед загадывать! — задумчиво выговорила Наташа. Мыс-

ли ее были далеко, далеко...

В октябре на истомившиеся поля, на загубленные засухой всходы полились ненужные холодные дожди. После одного такого дождя из города утром должен был отойти последним рейсом пароход «Колорадо». Унылое это было утро. Свинцовая гладь реки сердито хмурилась под свинцовым холодным небом. На противоположном берегу чернел обнаженный лес: зияли невидные летом овраги... Словно тоскующий зверь заревел огромный пароход. Загрохотали скользкие от сырости сходни. Пассажиры из Апраксина просторно разместились в совершенно пустых каютах первого класса. Петр Евсеич с доктором тотчас же сели играть в шахматы, дети под надзором англичанки принялись бегать по зале, восхищаясь позолотой, зеркалами, живописью, хрусталиками на люстрах... Алексей Васильевич грустно смотрел на их раскрасневшиеся личики с сияющими глазенками и, сам того не замечая, курил папиросу за папиросой. Наташа долго возилась в каюте, размещая вещи, потом вышла оттуда и, облокотившись на кресло Петра Евсеича, стала следить

за игрою... Но невольно оглядывалась в сторону мужа, нетерпеливо кусала губы, хмурилась и наконец подошла к нему.

— Хочешь, выйдем на палубу? Здесь жарко. Пароход грузится, должно быть, долго еще простоит, — сказала она.

Оживленная пристань, такая живописная в летнюю пору, являла теперь вид печальный. По грязным, протоптанным доскам шлепали под тяжестью пятипудовых кулей оборванные крючники; бабы-мещанки с багровыми от натуги и злыми лицами таскали дрова. Там и сям возвышались развороченные бунты, как ни попало валялись мокрые рогожи, веревки, прилипшие листья капусты, арбузные корки, раздавленные ступнями рабочих... Дальше разгружался обоз — стояли телеги по ступицу в вязкой глине, с понуренными мокрыми клячами, с мужиками, похожими на нищих. Против пристани выстроился ряд кабаков и трактиров. Несмотря на ранний час, оттуда доносился пьяный шум и разбитый мотив из «Травиаты». На пристани тоже шумели, но как-то угрюмо и злобно. Ругались крючники с мужиками, похожими на

нищих; ругались столь же непотребными словами бабы-мещанки; хрипло и отрывисто лалял купеческий молодец у обоза; с отчаянным завыванием бранился другой молодец близ развороченных бунтов... Со всего ненастный октябрьский день согнал краски и приятные полутоны, все было холодно, убого, неприятно, и, когда крючники, подымая какую-то чрезмерную тяжесть, обшитую рогожей, затянули простуженными голосами «Дубинушку», она отозвалась не удалью, а жалобным стоном пришибленного, голодного, непоправимо несчастного человека.

Струковы стояли на балконе лицом к пристани. Минут десять они безмолвно смотрели и слушали, как вдруг залп отвратительнейших, отборных ругательств раздался у самых их ног... Струков тотчас же понял, что это для того, чтобы прогнать сытых, красиво и тепло одетых «господ», и, взяв жену под руку, перешел с нею на другую сторону парохода. Дружный хохот сопровождал их... Наташа больно кусала губы, лицо Струкова сделалось еще тоскливее, чем в каюте. Он сел и рассеянно стал смотреть на пустынную суровую Волгу.

— Ты хочешь завтра ехать? — спросила Наташа, кладя ему руку на плечо.

— Вероятно, завтра.

Она помолчала, потом сказала также тихо:

— Но как, должно быть, холоден дом в твоей Куриловке.

— Отчего холоден?.. Нет, можно защитить соломой.

Оба долго и безмолвно смотрели в угрюмую даль... Вдруг Алексей Васильевич припал губами к руке жены.

— Помнишь, Наташа? — сказал он, поднимая на нее глаза и насильственно улыбаясь сквозь слезы, — тоже река, тоже пароход... Как давно и как непохоже!

— Молчи об этом! — вскрикнула Наташа, внезапно бледнея, выдернула руку и отвернулась... Так прошло несколько мгновений.

— Дорогая моя, — робко позвал Струков. Она быстро обратилась к нему. Губы ее дрожали, заплаканные глаза горели негодованием, гневом, почти ненавистью.

— За что? За что, Алексей Васильевич? — заговорила она. — Я не о том упоминаю, — сохрани бог, ты и так безмерно наказан... Но го-

ды постылого прозябания, нытья, компромиссов, подходов... господи, господи! Что я делала? Детей рожала? Огрызалась из-за них как волчиха? Радовалась, какие глазки, ручки, ножки?.. А ты?.. Разве я того от тебя ждала? Разве на то надеялась?.. Ты еще там, в Париже, истерзал мое сердце... своими ласками, своей нехорошей страстью. О, как я тогда возненавидела себя, как поняла, сколько гнусности в положении женщины... в этом обязательстве отдаваться — не потому, что любишь и желаешь, но потому, что так принято и так угодно мужу. И все-таки поехала с тобой!.. И все-таки думала, что ты мой товарищ!.. Не говори, не говори, что наши лондонские планы оказались непрактичны. А жить, есть, пить, спать, и все это с комфортом, не спеша, смакуя, — это практично? Это можно?.. Я бы с тобой в огонь пошла, на голод, на холод бы пошла... А ты? Читал умные книжки? Говорил умные разговоры?.. И ждал, ждал: вот нахлынут откуда-то волны и понесут нас. Ну, и нахлынули, да не те!

Сначала Алексей Васильевич хотел возражать, оправдываться, напомнить кое-что в

свою защиту. Но чем страстнее и громче становился голос Наташи, тем его голова поникала все ниже и ниже...

— Прости меня, — прошептал он, — я не хотел этого... И разве я счастливее тебя?

— Ты?.. — презрительно протянула Наташа, но взгляд его так и резнул ее по сердцу. Она глубоко вздохнула, помахала платком на свое разгоряченное лицо, потом сказала, усиливаясь быть спокойной: — Все это нервы и сантименты. Оба мы с тобой засиделись на насести... Оба одинаково виноваты... и правы. Поработай зимою, съезди в Москву... Мой грех, что я отвела тебя от ученой карьеры. Может, еще наверстаешь и, кто знает, там-то и найдется твоя доля? А весною непременно приезжай, — слышишь? Что бы ни случилось, — твои ведь дети, и когда все перекипит, я, может быть — друг твой. Ну, довольно... Пойдем. Фу, какая сегодня противная Волга! — И не оглядываясь пошла в каюту. Струков хотел было последовать за нею, но вдруг почувствовал какое-то странное состояние: ноги точно отнялись; ни одной мысли не было в голове, ни ревности, ни сожаления —

в упавшем сердце. «Все кончено...» — выговорил он с тупою улыбкой. И всхлипывающий плеск волны за кормою, и разбитый мотив из «Травиаты», так же как тучи, и река, и угрюмая даль, казалось, повторили за ним: «Все... все кончено...»

Пароход «Колорадо» принужден был потерять несколько часов из-за поисков бесследно исчезнувшего пассажира. Долго затем происходило полицейское дознание, допрашивались крючники, бабы-мещанки, матросы, составлялся протокол... И когда в непогожую ночь снова заревел свисток и нелепая громада с шумом отчалила от пристани, в каютах первого класса было темно и пусто.

Примечания

Тексты печатаются по изданию: Эртель А. И. Собр. соч., т. I–VII. М., Моск. книг-во, 1909

«Карьера Струкова» Повесть «Карьера Струкова» — последнее художественное произведение Эртеля, написанное в 1894–1895 годах. Она впервые была опубликована в журнале «Северный вестник» в 1895 (кн. 12) и 1896 годах (кн. 1–3, 5–6).

В дооктябрьской критике была сделана попытка отождествить образ главного героя повести и ее автора. В предисловии к книге писем А. И. Эртеля, вышедшей в конце 900-х годов, М. Гершензон утверждал: «Безусловное понимание истины, условное осуществление ее — это один из заветных тезисов Эртеля. Всем существом он чувствовал, что прямолинейная принципиальность — холодна, мертва, что теплота жизни — только в компромиссе». (Письма А. И. Эртеля. М., 1909, с. XIII).

Подобная характеристика «приложима» к

герою повести «Карьера Струкова», но не к ее автору. М. Гершензон, а за ним П. Струве — авторы ренегатского сборника «Вехи» (М., 1909) — увидели главную особенность умонастроения и жизненной позиции Эртеля в соединении буржуазного практицизма с религиозным мистицизмом. Это видно из цитируемой статьи М. Гершензона и статьи П. Струве «Эртель как религиозный тип и воплощение идеи личной годности».

В послеоктябрьской критике были справедливо осуждены попытки этих авторов истолковать взгляды и творчество Эртеля в «веховском» духе. Однако их попытки поставить знак равенства между писателем и его героями и, в частности, Алексеем Струковым, имели свое продолжение. Так, в предисловии к роману Эртеля «Гарденины...», выпущенному в начале 30-х годов, А. Лежнев писал: «Эволюция Эртеля — это непрерывное выцветание разночинца-просветителя в либерала, продвижение его вправо, происходящее резкими скачками, сменяющимися периодами затишья, — пока он наконец не становится из представителя разночинного, хотя и не слыш-

ком решительного радикализма типичным выразителем буржуазии». (В кн.: Эртель А. И. Гарденины... Т. 1. М.-Л., 1933, с. 25.)

Перед нами типичный пример вульгарно-социологического истолкования взглядов писателя, которому критиками приписывались взгляды его героев, в чьих судьбах ему удалось запечатлеть сложные процессы эволюции разночинной интеллигенции в пореформенной, дореволюционной России

В советской науке о литературе длительное время оставалась не преодоленной еще одна ошибочная трактовка взглядов Эртеля, утверждавшаяся дооктябрьским литературоведением. «Эртель по своим взглядам, писал К. Головин, — народник чистейшей воды...» (Головин К. Русский роман и русское общество. СПб., 1914.) Глава об Эртеле в книге советского исследователя А. Спасибенко «Писатели-народники» (М., 1968) начинается словами: «Эртель — беллетрист-народник» (с. 353).

В наше время советские литературоведы видят в Эртеле «типичного демократа-просветителя», «реалистические произведения» которого «отразили назревание народной рево-

люции». (Краткая литературная энциклопедия т. 8. М. 1975, с. 959).

Примечания

1

"Как создаются догматы» (франц.).

[^^^]

2

Верю, потому что это абсурдно (лат.).

[^^^]

Курдаво Пьер-Шарль — французский писатель (род. в 1821 г.) — автор книг по теории и истории искусства и литературы.

[^^^]

"Труженики моря» — роман В. Гюго.

[^^^]

5

рынок, дешевый базар (франц.).

[^^^]

Вы поступите хорошо, навестив вашего отшельника. К тому же я нездоров (франц.).

[^^^]

Платон — друг, но истина еще больший друг!
(лат.).

[^^^]

Не мечите бисера перед свиньями! (лат.).

[^^^]

Имеет нечто, но не говорит (лат.).

[^^^]

Ошибаться свойственно человеку (лат.).

[^^^]

следовательно (лат.).

[^^^]

Помни — все становится пылью (лат.).

[^^^]

13

Первый день поста (франц.).

[^^^]

"вольные каменщики» (масоны) (франц.) — тайная религиозная организация.

[^^^]

Полицейское государство (нем.).

[^^^]

Справедливое (правильное) государство
(нем.).

[^^^]

Конституционное государство (нем.).

[^^^]

война всех против всех (лат.).

[^^^]

образ жизни (лат.

[^^^]

Магистр сказал? (лат.).

[^^^]